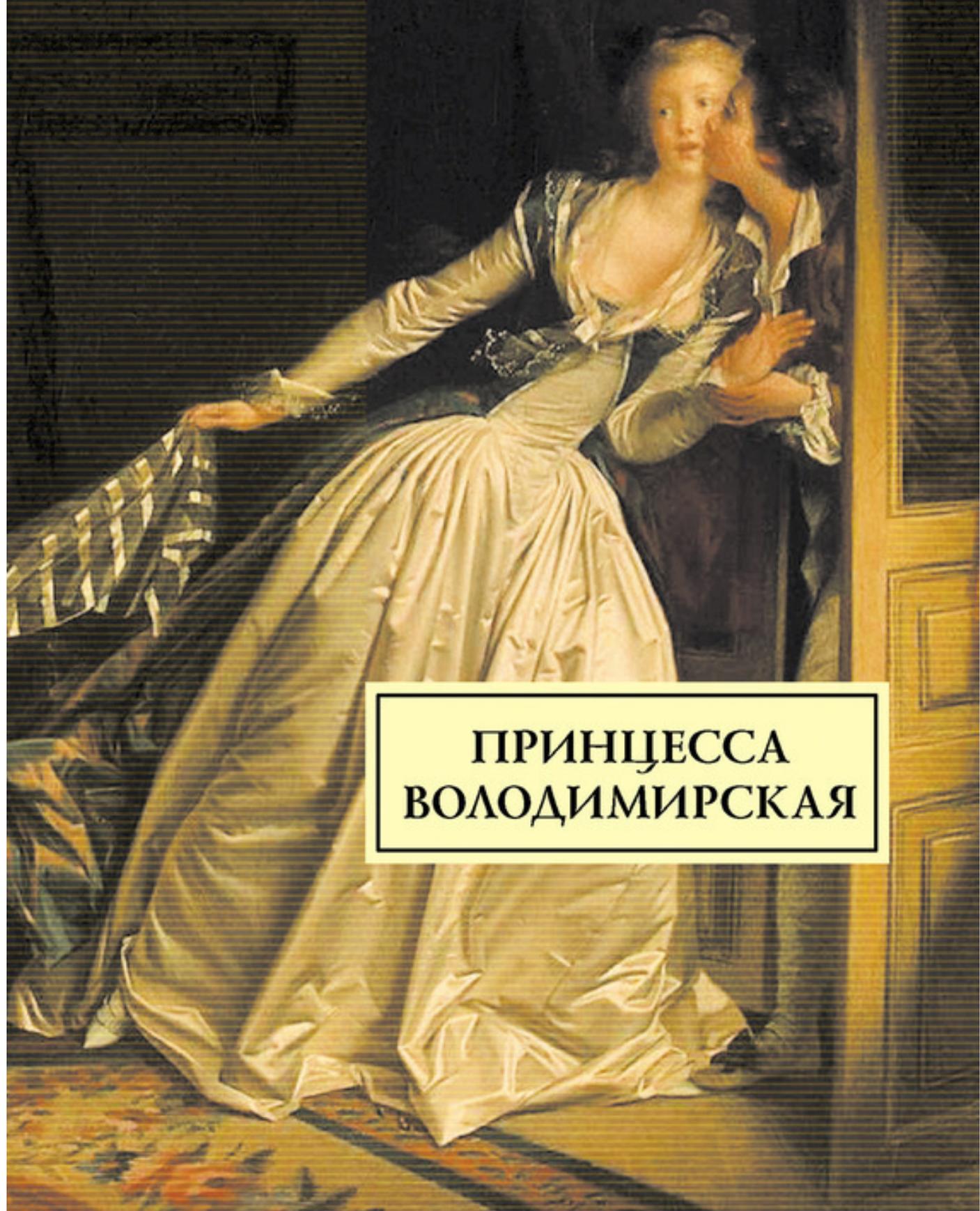


Е.А. САЛИАС де ТУРНЕМИР



**ПРИНЦЕССА
ВОЛОДИМИРСКАЯ**

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ

Великая судьба России

Евгений Салиас де Турнемир
Принцесса Володимирская

«АСТ»

Салиас де Турнемир Е. А.

Принцесса Володимирская / Е. А. Салиас де Турнемир — «АСТ»,
— (Великая судьба России)

Салиас де Турнемир (Евгений Салиас) (1841–1908) – русский писатель, сын французского графа и русской писательницы Евгении Тур, принадлежавшей к старинному дворянскому роду Сухово-Кобылиных. В конце XIX века один из самых читаемых писателей в России, по популярности опережавший не только замечательных исторических романистов: В.С. Соловьева, Г.П. Данилевского, Д.Л. Мордовцева, но и мировых знаменитостей развлекательного жанра Александра Дюма (отца) и Жюль Верна. «Принцесса Володимирская». История жизни одной из самых загадочных фигур XVIII века – блистательной авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на российский престол. Таинственные предсказания, головокружительные приключения, трагическая любовь и вероломное предательство...

© Салиас де Турнемир Е. А.

© АСТ

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Часть I | 5 |
| I | 5 |
| II | 7 |
| III | 10 |
| IV | 13 |
| V | 15 |
| VI | 17 |
| VII | 21 |
| VIII | 24 |
| IX | 27 |
| X | 30 |
| XI | 34 |
| XII | 37 |
| XIII | 40 |
| XIV | 42 |
| XV | 44 |
| XVI | 47 |
| XVII | 50 |
| XVIII | 53 |
| XIX | 55 |
| XX | 58 |
| XXI | 61 |
| XXII | 64 |
| XXIII | 68 |
| XXIV | 70 |
| XXV | 74 |
| XXVI | 78 |
| XXVII | 81 |
| XXVIII | 84 |
| XXIX | 86 |
| XXX | 89 |
| XXXI | 92 |
| XXXII | 94 |
| XXXIII | 96 |
| XXXIV | 99 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 102 |

Евгений Андреевич Салиас де Турнемир Принцесса Володимирская

Часть I

Le XVIII siècle est riche en aventuriers et en aventurieres de hante volée.
J. Michelet¹

Едва ли удастся когда-либо открыть, кто и откуда была самозванка, выдававшая себя за дочь Императрицы Елизаветы Петровны.

Чтения М. О. Истории и Древностей

Она чуть не с младенческих дней была, что называется, игралищем судьбы, орудием мелких и крупных интриг и вместе с этим интриганкой. Ее сложная жизнь – смесь добра и зла, красоты и грязи, обаятельной любви и распутства, легкомыслия и ума, женской слабости и силы, страстных, безумных увлечений и хитрых расчетов, блеска случайного богатства, роскоши и угрожающей не сегодня завтра нищеты, обольстительного счастья и горьких страданий. Она постоянно ставила на карту свое положение со смелостью и ловкостью, которые могли бы казаться гениальными, если бы они не были безрассудными. Она играла всеми, и ею играли все! И в конце концов бессознательно для самой себя она доигралась до последней игры, в которой потеряла все: блестящее положение, поклонников, надежды на корону, наконец, последнюю свою любовь – любовь к человеку, обманувшему ее самым бессердечным образом и предавшему на муки заключения... Какая романтическая и трагическая судьба, какая поэтическая личность – эта блестящая и несчастная женщина!..

В. Буренин

I

1742 год, первые дни марта.

Благословенный край, не унылый и однообразный, а могучий и своенравный в своих очертаниях. Здесь громоздятся заоблачные горные выси и кряжи, словно упираясь в самое небо, и отвесными уступами и стремнинами спускаются в цветущие долины; а по этим утесам, извиваясь меж камней и густой чащи, где нога людская от века не ступала, бьются и скачут с вечным гулом пенистые водопады. Примчавшись с разных сторон, они сплетаются вместе, сливаются в стремительно бурные потоки и, достигнув равнины, широко, спокойно, будто сознавая, с каких недосягаемых для человека вершин принеслись, – плавно льются, извиваясь по долинам мимо жилья, деревень и садов.

В этом краю началась уже весна. Вершины гор стоят еще в своих серебряных, а при закате – пунцовых шапках, но ближайšie к долинам утесы и скалы уже сбросили с себя снеговые глыбы, уже почернели и скоро позеленеют так же, как уже зеленеет вся долина.

¹ XVII век богат приключениями и авантюрами. Ж. Мишле (фр.).

В одной из этих долин, на почтовой дороге из крепости Святого Маврикия в старинный небольшой, но богатый городок Сион, приткнулась к холму, сплошь покрытому виноградниками, маленькая деревушка Вильи.

На краю деревушки, в небольшом беленьком домике, полузакрытом зеленью и увитом пахучими лиловыми цветами, станция и постоялый двор. Ежедневно проезжает здесь много путешественников из Италии и из Франции. Раза два-три в день среди тишины окрестности раздаются знакомый жителям стук колес и трель конских копыт по гладкой кремнистой дороге, звенят бубенчики, хлопают бич и трубит кондуктор, чтобы давали дорогу его четверику или шестерне веселых и сытых коней. И какой-нибудь тяжелый, но красивый экипаж проезжего сановника грузно, с грохотом, но как-то весело врывается в маленькую улицу и загромождает проезд, остановившись перед маленьким крылечком, где на вывеске стоит, размахнув лапами, золотой лев. Вокруг этого льва надпись, немножко смытая дождем, стертая временем, гласит: «Au Lion d'Or. On loge a cheval, et a pied»².

И действительно, маленький постоялый двор живет не столько проезжими сановниками, которые все спешат отдохнуть и пообедать в большом городе, а не в деревушке, – главные постояльцы те, которые путешествуют верхом и пешком.

Содержательница постоялого двора, Мария-Анна Дюкло, известна всей долине, известна в самом Сионе. Она женщина уже за пятьдесят лет; на вид ей каждый даст гораздо больше.

Все окрестные поселяне деревушек и одиноких хижин, рассеянных по скатам гор, знают и любят содержательницу «Золотого Льва», но все они зовут ее странным именем – Тантиной.

Когда-то в этом домике было весело: звучали детские голоса, жила большая семья; но по прихоти судьбы вся семья вымерла. Мария-Анна пережила и детей, и внучат и осталась одна на свете. Она постарела не по годам, но кротко примирилась со своею судьбою и, не имея своей семьи, стала матерью и бабушкой для всех соседей. Все деньги, которые остаются на постоялом дворе, переходят к беднейшим поселянам долины и гор. Всякий идет со своей нуждой, со своим горем, а часто и со своей радостью к tante Anna, и всякий от мала до велика, от крепости Святого Маврикия до Сиона, знает хорошо и любит добрую и щедрую tante Anna; но уже давно кто-то из ласкаемых старушкою детей прозвал ее вместо tante Anna³ – Tantina. И слово это повторилось другими детьми, повторилось взрослыми, будто понравилось всей долине, и теперь уже почти и забыли когда-то счастливую в своей семье Марию-Анну Дюкло и знают только общую благотворительницу – свою Тантину.

Несмотря на недостаток от проезжих и возможность иметь помощницу и наемников, удрученная годами и горем, старушка от привычки и любви к труду сама хлопочет с раннего утра в домике, сама готовит и обслуживает всякому проезжему и прохожему, и чем более устал путник, чем беднее одет он, чем более истрепана его обувь и пестрые штопаные лохмотья одежды, тем услужливее с ним Тантина и при расчете искусно старается обсчитать, конечно, себя. Иной спутник скажет спасибо, а другой только покачает головой и, удивляясь, вымолвит:

– Как у вас дешево жить! У нас все это дороже.

² Золотой лев. Поселяем всадников и путников (*фр.*)

³ Тетка Анна.

II

Однажды, в первых числах марта, погода с утра была ясная, но в воздухе чувствовалась особенная духота, а над всей окрестностью стояла тяжелая тишина. Солнце, обыкновенно очень поздно выходящее из-за высокого края, еще покрытого снегом, стало палить и припекать, как в самый жаркий летний день.

Все поселяне долины, наученные опытом и дедов, и прадедов, догадавшись, в чем дело, ждали первую грозу, всегда являющуюся как бы предвестницей начинающегося лета. Грозы бывают в этом краю не таковы, как в странах равнин и степей. Здесь гроза приходит из-за снеговых вершин и, нависнув над маленькой долиной, кругом обрамленной гигантами горами, будто застрянув среди вершин, всей своей силой разражается над одним местом.

Действительно, около полудня серебристые вершины потемнели, розово-матовая или опаловая тень легла на сверкавшие за несколько минут снеговые глыбы, из-за самого высокого зубца показалась сизая туча, и среди дня наступала теперь будто ночь. Долина, еще недавно освободившаяся от снега и только теперь начинавшая немножко зеленеть, как бы притихла в испуге. Ни единый листок, едва выбравшийся из почки, не шевелился. И среди этой окрестной, притаившейся, будто от страха, природы только ласточки низко кружились по земле, со свистом разрезая воздух, изредка некоторые сильным, но грациозным взмахом поднимались к кресту небольшой колокольни местечка и, дав несколько кругов вокруг креста и вокруг трехсотлетней башни, снова спускались к земле и снова стлались по земле, по улице местечка, по дороге, по гладкой поверхности небольшой речки, тихо извивавшейся среди молодой зелени. Жители тоже заволновались немного: кто запирали крепко ставни, кто бежал и спасал развешанное белье, кто бежал в поле пригнать домой своих коз.

Наконец пронесся первый порыв ветра, качнул все, хлопнул какой-то дверью, уронил что-то и умчался, и снова наступили та же темнота и тишина. Уже полнеба заволокла огромная черная туча; вдали, за одной ближайшей высокой горой уже гудели удары и раскаты грома.

И в эту минуту Тантина, стоявшая на крыльце своего постоянного двора, увидела среди грозового неба, в отверстии разорвавшейся тучи, красный, почти пунцовый зубец, сверкающий высоко в небе. Он был выше этой тучи и этой грозы и сверкал на солнце, как-то гордо и равнодушно взирая на грозно гудящую у его подножья непогоду. Только на минуту сверкнул этот пунцовый зубец среди черного неба и снова скрылся от глаз Тантины.

Она хотела уже войти в дом, заперев даже главную дверь, когда между двух порывов ветра, при наступившей тишине, до ее чуткого слуха донесся особо ей знакомый звук колес и копыт по дороге. Действительно, вдали, из-за нескольких раки у брызжущего колеса маленькой мельницы появились четверня лошадей и экипаж.

Почтальон гнал лошадей вскачь, стараясь добраться до постоянного двора, прежде чем хлынет поток с неба. Бойко и ухарски подкатил экипаж к крыльцу «Золотого Льва».

– Хозяйка, принимайте гостей! – весело крикнул молодой и красивый почтальон, слезая с козел и отворяя дверцы кареты.

Тантина по обыкновению приблизилась к экипажу, прося, как всегда, войти и отдохнуть.

На этот раз в карете оказалась женщина, молодая и элегантная, и при полутьме, наступившей от грозы, старые глаза Тантины, столько слез пролившие за всю жизнь, все-таки разглядели доброе, красивое и крайне бледное лицо.

– Нет, я хочу ехать дальше! – расслышала Тантина звучный и приятный голос, произносивший французские слова правильно, но с иностранным акцентом.

И почтальон, и Тантина стали уговаривать путешественницу переждать грозу на постоянном дворе, а не ехать далее.

Сначала незнакомка не соглашалась, но потом пристально всмотрелась в лицо Тантины и на минуту – хотя было не до того – она задумалась, пристально разглядывая черты лица старухи.

– Хорошо. У вас, пожалуй, останусь, – улыбнулась она и осторожно вышла из кареты.

Через несколько минут красивая незнакомка сидела не в общей зале, где спал на лавке какой-то прохожий тиролоец, а в отдельной маленькой горнице, где Тантина принимала более важных проезжих.

Опытная Тантина, столько иностранцев выдавшая на своем веку, все-таки была немножко удивлена: путешественница немножко подстрекнула ее любопытство. Она, очевидно, была иностранка, издалека, со средствами, а ехала одна-одинехонька, без курьера и даже без горничной, а между тем последнее, очевидно, было бы ей нужнее, чем кому-либо. Проезжая была в таком положении, что ей – и для опытного глаза Тантины это было очевидно – оставалось лишь несколько дней, чтобы сделаться матерью.

Тантина никогда не позволяла себе болтать и расспрашивать проезжих. Она молча прислуживала, стараясь даже не слушать, что путешественники говорят между собою. Но на этот раз красивое и бледное, особенно печальное лицо молодой женщины, ее положение, ее одиночество заставили Тантину невольно лишний раз приглядеться к незнакомке.

Между тем после могучего порыва ветра, который сорвал часть крыши у соседнего дома, хлынул тот страшный поток дождя, после которого горы и ущелья начинают гудеть на всю окрестность и сбрасывать с себя в долины целые массы мутной воды, часто затопляя их и унося иногда целые хижины, целые стада. Тяжелые, резкие удары грома следовали один за другим. Стены постоянного двора слегка вздрагивали; в темных, как бы в сумерки, окнах часто появлялись красные пятна, будто пламя пронеслось по улице мимо этих окошек.

Тантина стояла в углу горницы и с особенным чувством смотрела на сидящую за столом путешественницу.

Молодая женщина, быть может, под влиянием бушующей непогоды облокотилась на стол, где был перед ней просто, но чисто накрыт целый обед, и, не притрагиваясь ни к чему, глубоко задумалась.

Две свечи, которые Тантина зажгла перед ней, придавали всей обстановке горницы и самой незнакомке какой-то странный, особый, будто зловещий отпечаток. Несмотря на потемневшее небо, на полутемные окна, все-таки в них проливалась малая частица дневного света, и эти свечи, зажженные среди дня, под гул и грохот непогоды, странно озаряли красивое и печальное лицо путешественницы.

Наконец оглушительный удар грома, от которого сотряслась, казалось, вся долина, заставил незнакомку вздрогнуть, прийти в себя.

Тантина не выдержала, приблизилась к столу и выговорила своим кротким голосом:

– Вы испугались? Вы боитесь грозы?

Незнакомка подняла на хозяйку свои черные глаза и выговорила тихо и спокойно:

– Нет, не боюсь. Это не страшно. Есть многое на свете, что гораздо страшнее грозы, – прибавила она как-то двусмысленно и при этом улыбнулась. – Сядьте около меня. Как вас зовут?

– Анна, но меня все зовут давно Тантиной.

– Ну, сядьте, madame Тантина. Я хорошо сделала, что остановилась у вас. Я не думала, чтобы началась такая гроза. А знаете ли вы, почему я остановилась и не поехала дальше? Я непременно хотела быть скорей в Сионе. Мое положение такое, как вы видите, что нельзя терять время. Сначала я надеялась еще доехать до Италии, но теперь об этом и думать нечего. Поеду дальше, когда уже буду не одна, поеду вдвоем с ним или с ней, – с каким-то невыразимым торжественным выражением лица выговорила незнакомка.

Эти слова женщины, одинокой в дальнем пути, бог весть из какой страны, радующейся на днях быть уже не одной, сильно поразили кроткую и мягкосердечную Тантину. Она сама столько любила когда-то, сама потеряла столько детей и внучат, что более чем кто-либо могла понять, почувствовать сердцем тот странный звук, который слышался в словах незнакомки.

Тантина села к столу около незнакомки, добрыми глазами, полными сочувствия, стала смотреть ей в лицо, и невольно много вопросов сразу сорвалось у нее с языка.

– Простите меня, – сказала Тантина, – я не имею обычая хозяек постоянных дворов надоедать, расспрашивать проезжих. Мое дело – служить. Но мне кажется, что ваше положение... Извините, вы какое-то исключение из множества проезжих, которых я видала. Вы издали, одна и в таком положении едете в Сион, где вы никого не знаете! Как же вы будете одна? Я ничего не понимаю! Извините меня, но я боюсь за вас.

– Что делать, милая хозяйка! Бывают такие обстоятельства, которые трудно переживать, но что же делать?! Я действительно происхождением из очень далекой страны, о которой вы только слышали, – из страны севера, где много снега, – но веры я одинаковой с вами. Ведь вы – католичка?

– Да, наш кантон католический. Сион имеет много и много за несколько столетий индульгенций от святого отца, и многие из наших даже бедных поселян бывали в Риме и удостоились благословения папы.

– Да, вот и я думала доехать туда, очутиться среди людей близких, а придется остановиться на полпути и ехать уже после. Но зато тогда мне будет веселей, чем теперь одной. Да, я вспомнила: я хотела сказать вам, почему я остановилась у вас. Ваше лицо меня удивило. Вы замечательно похожи на мою бедную няню, которая теперь далеко-далеко отсюда – так далеко, что, бог знает, увижу ли я ее когда-нибудь снова. Вы так похожи на нее, что мне приятно беседовать с вами. Если возможно, я вас попрошу приехать ко мне в Сион, а затем мы вместе приедем к вам в гости прежде моего дальнейшего путешествия.

Эти простые слова снова тронули Тантину чуть не до слез. Старушка давно не испытывала такого хорошего чувства, которое шевелилось теперь у нее на душе.

– Нет, вы... Я не знаю даже, как назвать вас?

– Зовите меня просто Людовикой.

– И так, *madame* Людовика, все, что вы собираетесь сделать, совершенно невозможно. Подумайте: как вам ехать в город, где вы никого не знаете, остановиться в гостинице, которые все немного лучше моего постоянного двора, или искать квартиру, которой вы не найдете, – я знаю Сион так же, как и наше местечко, – затем, быть может, вы даже не успеете всего этого сделать. Подумайте: не лучше ли вам остаться здесь, у меня? Я одна-одинехонька, а вы такая милая, вы так сразу расположили меня в свою пользу, что я все на свете готова для вас сделать.

– Нет, милая Тантина, это невозможно, это было бы еще безрассуднее. Сион все-таки городок.

Напрасно Тантина уговаривала незнакомку: она улыбалась и, благодаря, отказывалась. Ей как-то жутко было даже подумать остаться в маленькой деревушке, на маленьком постоялом дворе. В городе, каков бы он ни был, одинокой путешественнице все-таки казалось не так страшно.

III

Наконец гроза прошла, небо прояснилось. Незнакомка тотчас же попросила хозяйку велеть запрягать лошадей.

Тантина исполнила ее приказание, но вдруг как-то задумалась, ходила от крыльца в горницу проезжей, склонив голову и сложив руки на груди. Наконец она уже в третий или четвертый раз вернулась к столу, где только теперь собралась что-нибудь съесть незнакомка. Тантина стала перед ней и вдруг выговорила:

– Послушайте, г-жа Людовика, обещайте мне исполнить одну просьбу, вовсе немудреную. Вы должны ее исполнить – так, видно, Богу угодно. Мне это вдруг пришло на ум, и теперь, если вы мне откажете, то вы меня опечалите.

– Говорите – если могу, то исполню.

– Очень можете. Вы должны это сделать для меня. Позвольте мне ехать с вами в Сион. Потом, после, когда не надо будет, я вернусь домой. Подумайте: у меня было три дочери; у каждой из них было по ребенку и по два. Ведь этот домик был когда-то полон народу. Теперь я одна осталась! Я могу в вашем положении быть вам более чем полезна. Наконец, я не хочу вас отпустить так одну – мне Господь не велит этого.

Тантина проговорила это с таким одушевлением, с таким чувством, что незнакомка, поднявшись из-за стола, взволнованная подошла к совершенно незнакомой ей женщине, которую в первый раз увидела часа за два перед тем. Она приблизилась, обняла старушку и, ни слова не говоря, расцеловала в обе щеки.

– Так вы согласны! – воскликнула Тантина, обрадовавшись, как ребенок.

– Да разве можно не соглашаться на такие предложения! Вы бросите ваш постоянный двор, вы потеряете за это время много денег – зачем? для кого? Для женщины, совершенно вам незнакомой. По крайней мере, позвольте мне после отплатить вам.

– Ну, отплатить – это мы увидим. Во всяком случае не только вы, но, к несчастью, даже Господь не может теперь послать мне счастье. В мои годы на свете уже нечего ожидать; все, что бывает у человека, – все это было; впереди ничего нет. Денег мне не надо, у меня их больше, чем нужно. В известном смысле я даже богаче вас, потому что те деньги, которые имею, мне некуда девать, а счастья вы мне не можете дать. Вернуть мне детей и внучат и Господь не может.

Тантина утерла слезы и прибавила более веселым голосом:

– Дайте мне пять минут. Я уложусь, позову соседку Каролину, сдам ей мое хозяйство и провизию, и мы поедем.

Тантина бодрыми шагами, будто помолодев в несколько минут, вышла из горницы, а молодая женщина осталась на том месте, где говорила с ней, и, опустив голову, задумалась.

Дальняя страна, ее отечество и иной строй жизни, вполне чуждый окружающему ее теперь, носились в ее воображении: родные, старик отец, изгнавший ее из дома, мать, убитая горем, которая теперь, быть может, уже не на этом свете, друзья и приятельницы, которые теперь, быть может, лишь с презрением произносят ее имя... А что будет в будущем? Осуществится ли то, о чем она мечтает? Какая судьба ожидает ее ребенка?

Через несколько минут лошади снова были запряжены, и незнакомка, назвав себя Людовикой, сядила снова в карету.

Вокруг экипажа стояли густой толпой все обитатели деревушки. Окрестность, будто омытая грозным дождем, вся сияла, сверкала...

Слух, что Тантина уезжает в Сион с какой-то неизвестной дамой, молнией пронесся по всем жилищам, и все, кто только был налицо, прибежали к крыльцу «Золотого Льва». Вопросам, недоумению, восклицаниям не было конца. Казалось, что в мирной от века деревушке начинается уличный бунт. Напрасно Тантина клялась и божилась, что скоро вернется, что ей

необходимо, нужно в Сион и что знатная дама пригласила ее доехать с собою. Все друзья Тантины – а их было много – лезли к экипажу и чуть не силою хотели остановить Тантину от такого рокового шага и ужасного предприятия – ехать в Сион с незнакомой, хотя и красивой дамой. До Сиона было всего два часа езды, и все поселяне постоянно бывали там, продавая на базаре свои овощи, виноград, своих кур и коз. Но все-таки теперь им казалось невероятно, что любимая всеми старушка, не выезжавшая столько лет, даже не отходившая ни на шаг от своего «Золотого Льва», вдруг направляется в город при таких странных обстоятельствах.

Людовика должна была наконец обратиться ко всей толпе с просьбой успокоиться. Она выглянула из окна кареты, оглядела окружающую экипаж толпу и выговорила своим звучным и добрым голосом:

– Успокойтесь, мои друзья: с госпожой Тантиной, которую вы так любите, ничего дурного не приключится. Через несколько дней она вернется к вам снова.

Через минуту захлопал бич, зазвенели бубенчики, и сытые кони понеслись по кремнистой дороге, мокрой, сырой и ярко блестящей на солнце.

Промчавшаяся гроза освежила воздух, и теперь как-то особенно легко дышалось. Ясное синее небо казалось еще чище, будто и его омыла гроза; оно было еще синеватее, еще прозрачнее. Солнце уже не палило, как прежде. О громе не было и помину, но если бы теперь чутко прислушаться, то до слуха донесся бы странный далекий гул. Потоки с гор мчались теперь в долины; массы снега, покрывавшие ближайшие утесы и холмы, растаяли от дождя и увеличили повсюду мутные водопады.

Едва только карета выехала из деревушки, как Тантина задумчиво выговорила:

– Как бы виноградники не погубило.

И она объяснила своей новой знакомой, что после такого дождя может сделаться сильное разлитие обыкновенно небольшой речки, извивающейся по долине и называющейся Сионной.

Действительно, когда они въехали на первый попавшийся по дороге мост, перекинутый именно через Сионну, Тантина показала на реку. Вода стояла уже выше обыкновенного уровня, и в ней заметно было простым глазом усиленное течение и мутный цвет.

– В сумерки, – сказала Тантина, – может выйти Сионна из берегов и затопить много виноградников.

Людовика стала как будто немного веселее. Лицо ее тоже прояснилось или под влиянием наступившего чудного дня, или, быть может, оттого, что она нашла себе так нечаянно добрую женщину для услуг, черты лица которой действительно напоминали ей старую няню.

Всю дорогу проговорили обе женщины, но на некоторые вопросы, которые Тантина считала теперь возможным предложить, Людовика отвечала уклончиво или прямо говорила:

– Этого я вам сказать не могу.

Она просила только Тантину по приезде в город остановиться в лучшей гостинице и затем, не жалея денег, найти самое удобное, тихое и приличное помещение на месяц или на полтора.

– И как только можно будет, как я поправлюсь, так сейчас же выеду далее в Рим.

– Там вы и останетесь жить? – спросила Тантина.

– О нет, мне там надо побывать, а затем я снова должна ехать в Париж, а из Парижа... – она запнулась и прибавила: – Далеко на север.

Через часа полтора езды вдали, между двумя кряжами гор, где долина немного сузилась, показался город.

Людовика, много городов видевшая на своем веку, все-таки с любопытством приглядывалась к легким очертаниям городка, который как-то плавал и будто дрожал в прозрачном воздухе. С сырой земли повсюду подымался пар, и все окрестности, даже высокие вершины гор, как-то странно, неуловимо для глаза, колебались и дрожали.

Еще через полчаса карета катила уже недалеко от города, и Тантина, показывая своей полужнакомке разные здания, объясняла ей и рассказывала все, что знала.

IV

Сион – древний город, во времена римлян Седанум, – мог насчитать несколько веков существования. В IX столетии он был уже известен под именем Сиона. И город, и вся зависящая от него маленькая страна, свободная испокон века, христианская и католическая с незапамятных времен, была на пути меж двух стран – между Францией и Италией, была станцией между двумя такими городами, как Париж и Рим. Часто послы французского короля, отправляясь в град святого Петра, останавливались в Сионе; и наоборот, папский нунций, прелат или кардинал, едущие из Рима к французскому королю, всегда останавливались проездом у епископа сионского.

Город, как и все города, возникшие и процветавшие в Средние века, помещался по скату круглого и высокого холма. В сущности, город делился на два одинаковой величины холма. На вершине одного из них высилось огромное здание, основание и происхождение которого терялись во мраке веков. Это был полудворец, полукрепость, с высокими крепостными стенами, с высокими башнями по краям и с большим храмом внутри, крест которого привычному оку виднелся далеко во всей долине. Это была епископская резиденция, а ко всем сионским епископам особенно благоволил всегда наместник святого Петра.

Против этого громадного замка темно-коричневого цвета, со средневековыми окнами, карнизами, бойницами, на противоположном холме высилась красивая готическая церковь Святой Екатерины. Около нее тоже большое здание, казавшееся только маленьким по сравнению с громадным епископским замком, – это стояла над обрывом семинария, известная всему католическому миру. Сюда когда-то приезжал проповедовать ересиарх из Женевы – Кальвин и был отсюда изгнан властями. Он бежал, преследуемый сионцами, которые едва не побили его камнями.

Истари Женева и Сион соперничали между собою и сталкивались по поводу всяких и важных, и пустых обстоятельств.

По скату холмов и в ущелье, образуемом обоими холмами, белели чистые и опрятные домики сионцев. Внизу, при въезде в город, около старинного гранитного моста, перекинутого через Сионну, который построили, быть может, еще римляне, в стороне от дороги виднелся тоже замок – по имени Маиория. Имя, занесенное из Италии, свидетельствовало о том, кто основал этот замок.

Теперь в нем жил самый богатый человек на тысячу верст кругом. Он считал себя не чужеземцем, хотя носил имя и был потомок графов Транставере. Но он упорно отказывался от своего итальянского происхождения, так как сам хорошенько не мог определить, когда его предки поселились в Сионе.

Проехав мост, карета Людовики поехала тише, с гулом и грохотом двигаясь по неровной мостовой узких улиц.

Прохожие останавливались и иногда прижимались к стенам домов, чтобы пропустить экипаж. Сионцы давно привыкли к иностранцам-проезжим. Они привыкли даже видеть таких гостей и такую одежду, которые изумили бы всякого другого. Еще года за два перед тем проехал здесь венецианский посол с огромной свитой, направляясь в Париж, и своим присутствием придал всему городу праздничный вид. Даже некоторые лавки закрылись на главной улице, и народ бегал смотреть, как епископ принимал блестящую толпу своих гостей и сам в сопровождении своей свиты ездил отдавать визит венецианцам, гостеприимно принятым на жительство графом Транставере.

Карета остановилась у подъезда довольно большого дома старинной архитектуры. Это была гостиница «Золотого Ключа». Название его было намеком на ключ святого Петра в Риме, врученного ему, как известно, Богом от врат рая.

Тантина, как только вышла из кареты, объявила, что берет на себя все хлопоты и заботы, и просила свою новую знакомку не перечить ей ни в чем. Тантина просила тоже не говорить никому о том, что они так недавно, всего за несколько часов перед тем, и так странно познакомились.

– Я скажу, что я вас и прежде знала.

Тантина давно не была в Сионе, но тем не менее у нее было много знакомых, и она заранее знала, что, где и как устроить.

К вечеру она нашла уже светлую квартиру в верхнем этаже одного дома, помещавшегося на краю города, из окошек которого виден был весь Сион, епископский замок и храм Святой Екатерины, а в противоположную сторону расстилалась перед глазами вся Сионская долина.

Тантина дала Людовике на выбор три квартиры, и молодая женщина не колеблясь выбрала эту.

На другой день обе новые знакомые уже поселились в нанятом помещении. Вещи Людовики в сундуках различной формы, помещавшихся в фургоне за каретой, были внесены, и вновь нанятая молодая горничная Луиза раскладывала их по указанию новой барыни. Вещей этих, нарядов и всяких безделушек, было много, и вдобавок по ним можно было судить, какой среде принадлежит Людовика.

Тантина теперь вполне убедилась, что имеет дело с важной барыней, аристократкой из дальней страны, которую бог весть какие обстоятельства заставляют на чужбине проводить одиноко те дни, в которые обыкновенно женщина бывает окружена всей родней и друзьями. Тантину сначала почему-то немного смущало, какой веры ее полужнакомая. Ей теперь хотелось, чтобы она оказалась не протестанткой, не язычницей.

Но в тот же день Тантина могла успокоиться. Людовика из красивой шкатулки достала изящно сделанное распятие, резное, из слоновой кости на черном мраморном кресте, и, прикрепив его у стены около своей кровати, тут же повесила четки и образок Богоматери.

Только образок этот смущал Тантину: такого она еще не видала. Наименование Богоматери, которое сказала ей Людовика, показалось ей очень странным; она его и выговорить не могла:

– Notre Dame de Tchenstohovo.

На другой же день Людовика собралась съездить с визитом к епископу.

Тантина всячески уговаривала молодую женщину отложить этот визит, сделать его после, так как, по ее мнению, молодая женщина должна была соблюдать возможно большее спокойствие. Тантина объясняла Людовике, что подъехать к самому епископскому дворцу невозможно, что надо остановиться на полгоре, идти пешком до главных ворот, а затем, чтобы достигнуть апартаментов епископа, подняться по нескольким крутым лестницам.

– Такая прогулка для вас невозможна, – убедительно говорила Тантина.

– Нет, надо, надо! – упрямо повторяла Людовика. – Надо прежде съездить, надо переговорить с епископом, надо, чтобы он знал меня. Бог весть: вдруг я...

И Людовика запнулась и прибавила улыбаясь:

– Вдруг я умру, и никто не будет знать, какой и чей ребенок останется сиротой на свете.

– Полноте! – ахнула Тантина. – Как можно говорить такие вещи!

– Отчего же? – вымолвила Людовика. – Вы сами же дорогой рассказывали мне, как потеряли старшую дочь; ну, вот такое же может быть и со мной.

Но при этом Людовика так улыбалась, лицо ее было так оживленно, что, конечно, она шутила и мысль о смерти вовсе не озабочивала ее.

– Успокойтесь, милая Тантина, я вовсе не собираюсь умирать; напротив того, я собираюсь жить. Этот ребенок переменит даже мою жизнь, заставит меня жить совсем иначе: веселее и счастливее.

V

Несмотря на увещания Тантины, Людовика на другое утро послала просить позволения у епископа представиться ему, причем послала записку, приказывая отдать ее непременно в собственные руки прелата.

Епископ отвечал немедленным приглашением. Молодой аббат, красивый, веселый, приехал к иноземке и, называя ее *madame la comtesse*, несмотря на возражения Людовики, что она не имеет этого титула, часа два весело проболтал с молодой женщиной и, прощаясь, упрямо снова назвал ее графиней.

Наутро молодая женщина надела одно из лучших своих платьев – серое бархатное, вышитое золотыми листьями, напудрилась тщательно, кокетливо пришила к голове оригинальную шляпку того же цвета, прицепила к ней большое белое перо, падавшее до плеча, и, оставившись перед Тантиной, веселая и довольная, спросила: красива ли она?

Теперь только Тантина заметила, что действительно эта женщина, в особенности в красивом костюме, очень хороша собою. Большие черные глаза напоминали Тантине глаза тех итальянцев, которые так часто останавливались в «Золотом Льве». Но у них никогда не видала она таких черных красивых бровей, какие двумя ниточками были будто приклеены к высокому белому лбу красавицы.

Через полчаса Людовика, шагом проехав по двум-трем улицам, поднялась в своем экипаже по крутой дороге, извивавшейся по холму кругом громадного епископского замка, и остановилась на небольшой площадке. Нанятый лакей высадил ее из кареты и указал дорожку, по которой надо было подниматься к главным воротам замка.

Молодая женщина тихонько достигла в сопровождении этого лакея решетки, за которой виднелся просторный двор, окруженный высокими стенами и башнями. Среди двора виднелся храм, а около него другое здание, в котором помещался епископ. Строго готическая архитектура колоннад, портала храма, башен и дома епископа, повсюду серый и коричневый вековой гранит, кое-где увитый густым, быть может тоже столетним, плющом. Несколько огромных дубов развесили могучие ветви около епископского дома, очевидно, посаженные здесь когда-то; дубы эти были, быть может, ровесники самому дому.

Привратник отворил решетку. Он был уже предупрежден и знал, что приедет важная дама.

Тотчас же на дворе появилось несколько фигур; затем выскочил из подъезда дома вчерашний аббат, такой же веселый, румяный и любезный. Он бросился навстречу Людовике, предложил ей руку и повел к дому, болтая о том, что он всю ночь не спал от прелестных глаз, поразивших его вчера. При этом аббат вовсе не стеснялся тем, что два монаха, встретив молодую женщину, шли за ними и могли его слышать.

Через несколько минут молодая женщина, сильно утомленная ходьбою и бесконечными лестницами, сидела в приемной епископа и, не слушая болтовни аббата, отдыхала.

Епископ сионский, по происхождению француз, был кардиналом, хотя ему было не более сорока лет. Он был любимцем папы и достиг звания кардинала и места сионского епископа к великому негодованию многих своих товарищей.

Наконец дверь отворилась. Два лакея в пестрых кафтанах отворили настежь обе половинки дверей и стали по бокам, как на часах.

Человек среднего роста, гладко обритый, некрасивый, с маленькими серыми глазами и тонкими злыми губами, вышел в приемную, важно, медленно шагая по мягкому ковру. На нем был длиннополый атласный кафтан, подбитый лиловым, а на груди – крест и знак кардинальского достоинства.

Он принял молодую женщину любезно, но сухо и стал расспрашивать ее. При первых же словах Людовика объяснила епископу, что желала бы переговорить с ним наедине. Тогда епископ попросил ее войти за ним в его кабинет.

Через час времени молодая женщина вышла. Кардинал провожал ее с совершенно иным выражением лица, более любезно. Он довел ее до последней горницы и просил позволения приехать к ней, чтобы отдать визит.

Молодая женщина тоже вышла из кабинета с другим выражением лица. Очевидно, там происходило объяснение. Лицо ее было заплакано; она была сильно взволнована, дышала тяжелее, и когда явившийся аббат предложил ей руку, чтобы вести к экипажу, то заметил, что рука молодой женщины сильно дрожит.

Аббат даже не понимал, почему это гостья вышла от господина кардинала-епископа в слезах и в волнении, – стало быть, тут кроется какая-нибудь тайна.

И, посадив женщину, произведенную им в графини, в ее карету, аббат ворочался озабоченный, как бы узнать, в чем заключается тайна. В однообразной обстановке его жизни в замке епископа, в качестве его адъютанта, всякое появление красивой женщины-чужеземки было чуть не событием. Узнать тайну от самого епископа было, конечно, немыслимо. Кардинал вообще не был болтлив, жил замкнутой жизнью, много читал и писал, переписывался со всеми прелатами Франции и Италии и имел сношения со всеми католическими странами.

На этот раз, вернувшись в свой кабинет, епископ долго стоял у своего стола, покрытого книгами, бумагами и рукописями, и наконец проговорил:

– Надо будет написать отцу Станиславу в Краков, он мне все разъяснит. А это надо будет спрятать.

И епископ взял со стола большой пакет, оставленный его посетительницей, и запер его в большое резное из дуба бюро.

Молодая женщина вернулась домой.

Тантина ждала ее на подъезде и тревожно пригляделась к ее лицу, когда она выходила из кареты. И ее, как и аббата, удивило, что молодая женщина вернулась из гостей от епископа с неестественно румяным лицом и заплаканными глазами.

– Как вы себя чувствуете? – был первый вопрос Тантины. – Наверное, устали?

– Да, милая Тантина, очень устала и чувствую себя совсем нехорошо или, лучше сказать, – грустно усмехнулась она, – чувствую себя накануне давно ожидаемого...

VI

В этот вечер Тантина рано уложила в постель свою полузнакомку и села около ее постели, так как Людовике не хотелось спать и она просила старушку позабавить ее, рассказать что-нибудь.

Тантина вздохнула и, глядя на красивую головку молодой женщины, покоившуюся на белой подушке, вымолвила:

– Я расскажу вам не сказку, а действительное происшествие, а конец вы сами доскажете мне.

Голос Тантины был далеко не шутив, а с оттенком даже печали. И старушка стала рассказывать о том, как одна женщина, поселянка Сионской долины, жила счастливо в своей деревушке, прижила детей, женила их, повыдала замуж, сделалась бабушкой, потом всех потеряла и осталась одна. Средства к жизни у нее сравнительно очень большие, но девать состояние ей некуда. И вдруг неожиданно явилась к ней, содержательнице постоялого двора, незнакомая красавица, очевидно важная барыня. Незнакомка эта сразу понравилась старушке настолько, что она поехала с ней, несколько лет не выезжая из своей деревушки. Эта чужеземка, одинокая на чужбине, очевидно, находится в исключительном положении. У нее есть родня, но она, вероятно, покинула родной кров, провожаемая... не благословениями! Она будет скоро матерью, а между тем у нее нет мужа. Положение, в котором она находится, таково, что ничего нельзя сказать с верностью. Надо надеяться на счастливый и благополучный исход, но все в руках Божьих. Если бы, по воле Божьей, случилась какая беда, то что же будет с ребенком? Старуха, которая из любви и отчасти по какому-то странному велению судьбы поехала за этой иноземкою, ничего не знает о ней, и в случае грустной необходимости она даже не будет знать, что делать.

– Я кончила, – прибавила Тантина, – теперь доскажете конец сами.

– Вы правы, милая Тантина, – отозвалась молодая женщина, и слезы блеснули в ее глазах. – Но видите ли, с одной стороны, я не могу, не должна ничего сказать вам, хотя верю вашей скромности, а с другой стороны, – прибавила она, усмехаясь, – я не собираюсь умирать, я хочу жить. Скажу вам одно, для того только, чтобы успокоить вас. Если бы случилась какая беда, – давайте говорить прямо, – если бы я умерла, то господин епископ знает все. Его я назначаю как бы своим душеприказчиком, а вас, милая Тантина, няней и попечительницей моего будущего ребенка. Довольны ли вы?

– Да, если господин епископ знает все, знает, кто вы и откуда, если мое предположение верно, что вы ездили к нему не с простым визитом и недаром вернулись оттуда взволнованная и в слезах, тогда я успокоюсь. Заговорить об этом с вами я считала своим долгом. Но я точно так же, как и вы, надеюсь, что все будет слава богу.

– В этом нет никакого сомнения, милая Тантина. Эта обстановка, тайна, которой я окружаю себя, все это подействовало немножко на ваше воображение и направило ваши мысли на разные дурные предчувствия. Нет, милая, мне нельзя, не надо умирать: это было бы бессмыслицей. И даже вам не следовало бы наводить меня на такие грустные размышления. Ну да до свиданья. Я устала, мне хочется заснуть.

Тантина поднялась со своего стула и хотела уходить в свою горницу, но молодая женщина протянула к ней руки и выговорила:

– Поцелуйте меня. Вы такая женщина, каких, конечно, мало на свете. Если бы я не знала наверное, что вы мне ответите отказом, то я попросила бы вас теперь же оставить родину и последовать за мною всюду, куда я поеду, в Италию и, наконец, в мое отечество. Вы говорите, что остались круглой сиротой, что вас ничто не привязывает к жизни после ваших потерь,

отчего бы вам не поискать счастья, хоть дружбы, под конец вашей жизни, между чужих людей? Подумайте об этом.

– Господь с вами! Куда мне на старости лет ездить по разным чужим землям искать то, что отнял у меня Господь здесь. Почивайте, я потушу свечу.

Тантина зажгла маленькую лампадку, потушила свечу и в полумгле оглянулась на молодую женщину, улыбаясь, кивнула ей головой и тихими шагами вышла из горницы.

Долго в этот вечер не спалось старушке. Давно уже столько мыслей не роилось и не путалось в ее голове. Еще два или три дня назад она часто не знала, о чем думать; в голове ее было так же пусто, как и на сердце, а теперь столько вопросов, важных и неразрешимых, приступали к ней со всех сторон. Теперь было о чем думать, тревожиться, бояться; теперь было чем жить сердцу и голове.

Тантина лежала в своей постели, ворочаясь с боку на бок и прислушиваясь к мерно раздававшемуся на улице крику ночного стража. Через каждый час слышала она вдали звучный теноровый голос его, выкрикивавший часы. Сначала вдали, быть может, под громадными вековыми стенами епископского замка, раздавалось над спящим городом среди тишины ясной ночи:

– Все благополучно! Пробило девять!

Затем тот же голос повторял то же ближе, на соседних улицах; затем в третий раз звучный и певучий голос кричал ту же фразу под самыми окнами, и снова наступала полная тишина.

Таким образом, Тантина прослушала и девять часов, и десять, и, уже забываясь, в полудремоте слышала то же:

– Все благополучно! Пробило одиннадцать!

Старушка задремала, но вот среди ночи вдруг раздался снова крик. Ей чудится голос ночного стража. Нет, это не он, это другой голос, в соседней горнице, он зовет ее по имени.

Тантина вскочила и бросилась к молодой женщине. Она сидела на кровати, уже спустив ноги на пол, и жестом, полным ужаса, прижимала руки к лицу, будто боясь чего-то случившегося в полусвещенной комнате.

– Тантина! – снова вскрикнула она, не видя, что старушка уже стоит около нее.

– Я здесь! здесь! Что вы! успокойтесь! Ведь надо было ждать. Успокойтесь. Это ваша прогулка все наделала. Но будьте спокойны, Господь милостив.

Молодая женщина давно уже трепетно ухватилась сильными руками и тянула к себе тщедушную старуху.

– Нет, не то, не то! Я боюсь теперь, Тантина, я боюсь умирать. Да, я умру, Тантина.

Молодая женщина, не вставая с постели, крепко ухватив старушку за плечи, спрятала лицо на груди ее.

– Я умру! Умру! – с ужасом шептала она. – Я видела сейчас мою мать, вот здесь, около себя. Она звала меня идти с собою, а куда? Если она жива, то это только упрек моей совести, а если она скончалась, то это предчувствие. Она звала меня с собою туда, где она.

– Но разве вы не знаете, жива или нет ваша матушка? – воскликнула Тантина.

– Не знаю, не знаю! Когда я бежала, – да, Тантина, я бежала из дома, – то она была после этого долго при смерти, а теперь, быть может, она приходила за мною с того света!

И молодая женщина, приняв руки и выпустив старушку, вдруг горько зарыдала.

– Бог мой, неужели же я должна умереть? – произнесла она.

Тантина стояла над нею, грустно поникнув головою.

Через минуту старушка уложила снова в постель встревоженную и трепетную женщину и, по просьбе ее, оделась и села снова около ее кровати.

Молодая женщина забылась, но сон ее был неспокоен. Она постоянно поворачивала голову на подушке, вздыхала глубоко и шептала отчетливо какие-то слова, совершенно непонятные старушке, – то был чужеземный язык. Вскоре начались муки...

Когда в шесть часов утра на ясном розовом небосклоне подымалось чудное яркое солнце, позлащая серебряные вершины гор, в последний раз прошел через просыпающийся город ночной страж, выкрикивая:

– Все благополучно! Пробыло шесть!

Старушка, прислушавшись к звучному напеву, невольно качнула головою. Было шесть часов утра, правда, но не все было благополучно, если не в городе, то, по крайней мере, в этой комнате.

Опытная Тантина, столько раз присутствовавшая при муках своих дочерей, предвидела еще яснее то, что сказывалось в ней накануне лишь одним предчувствием. И Тантина подумала про себя и с ужасом на сердце повторила слова молодой женщины:

– Бог мой, неужели же она должна умереть?!

И Тантина прибавила мысленно:

– Неужели же я должна вечно переносить только несчастье, вечно хоронить других – и своих, и чужих, – а сама обречена на одинокую, постылую жизнь!

Около полудня прохожие невольно останавливались под окнами того дома, где только что поселилась приезжая чужеземка. Душу раздирающие вопли слышались в этом доме, и прохожие разносили по городку странную весть. Так вот зачем приехала к ним, в Сион, незнакомка; или не успела она доехать домой и теперь поневоле одна, далеко от семьи?

В сумерки эти вопли прекратились, но зато в доме было смятение.

Уже давно был вызван городской врач, известный во всем околотке, но затем послали и за домашним врачом самого епископа, прося его на помощь.

Несколько пожилых женщин-соседок уже собрались в соседней горнице и предлагали свои услуги и свои советы бледной и растерявшейся Танине. И действительно, не любопытство, а сострадание привело сюда эту кучку женщин.

Вечер, всю ночь до следующего утра провела молодая женщина в ужасных муках, затем в беспомощности, ни разу не придя в себя, скончалась. Она отошла в другой мир, унося с собою тайну. И благодаря этой унесенной тайне вся жизнь новорожденной будет длинной, странной драмой с печальным концом.

Оба доктора вышли из дома; им было теперь нечего делать. Из всех женщин только две остались помочь Танине одеть покойницу и озаботиться крошкой сиротой. Женщины разошлись по городу на поиски уже не за доктором, а за кормилицей.

И теперь, когда простой, почти никому в Сионе нелюбопытный вопрос о жизни и смерти чужеземки был разрешен, возник более важный вопрос – как и кто похоронит ее и какой она веры; быть может, она язычница и епископ не позволит положить ее на сионском кладбище рядом с верными католиками.

Однако в тот же вечер епископ явился сам в пышной карете, в сопровождении своего вертлявого аббата. Но он приехал не поклониться покойнице, а для того, чтобы при помощи бургмейстера и членов местного магистрата описать все имущество и, наложив печати на сундуки, вновь уложенные чужими руками, отправить все в свой замок.

Танине было приказано озаботиться ребенком, но поселиться с ним в другой квартире в ближайших домах к главным воротам епископского двorca.

Дальнейшею судьбою ребенка епископ обещал заняться, так как в руках его были некоторые сведения.

Покойную, как католичку, епископ дозволил хоронить по обрядам религии на сионском главном кладбище и даже вблизи самого храма, так как, обмолвился епископ, надо ожидать от родных чужеземки великолепного памятника над ее могилой.

С похоронами, конечно, поспешили, и не прошло двух дней, как через весь город провезли черный гроб никому не известной в городе покойницы. И, быть может, именно поэтому

весь город сплошной толпой проводил тело таинственной чужеземки до ее последнего пристанища.

Сразу за гробом шла Тантина. Немного дней знала она несчастную, а между тем теперь она была единственным близким человеком на этих странных похоронах.

Когда Тантина после полудня вернулась с кладбища в новую квартиру, где звонко кричал сильный и здоровый ребенок, то у старушки была уже новая, удручающая ее забота. Она боялась теперь всеми силами своей души, что ее вдруг приказом епископа или приказом людей, близких к новорожденной, разлучат с этим маленьким существом, которое Тантина в несколько часов успела полюбить так, как любила когда-то своих новорожденных внучат. И даже более. Те маленькие существа бывали при рождении окружены большой семьей, а это крошечное существо покуда одиноко на свете.

И Тантина была убеждена, чувствовала, догадывалась, что вся родня этой крошки никогда не отнесется к ней так же, как она, чужая ей, но видевшая близко последнюю минуту ее матери. Она приняла ребенка на руки в то самое мгновение, когда одна душа явилась в этот мир, быть может, на одни страдания, а другая душа отлетела в иной мир на вечный покой.

VII

Прошло шесть месяцев после события, о котором немало толковали сионцы и немало с тех пор вспоминали про него.

Кроме того, обитатели мирного города поневоле интересовались судьбою малютки, поселенной близ епископского замка.

Как ни осторожен, ни скрытен был кардинал, а все-таки раза два обмолвился насчет покойной и новорожденной, и теперь через честолюбивого аббата знал весь Сион, что епископ списывается с важными сановниками далекой страны: одни называли чешское, другие – польское королевство. Весь город знал, что покойная была аристократка, и весь город ожидал с недели на неделю, из месяца в месяц развязки таинственного события.

Более всех ждала и томилась неизвестностью судьбы младенца и своей собственной, конечно, Тантина. Теперь она уже обожала маленькую девочку, которая знала ее, любила и выражала свою любовь глупыми, но милыми полуптичьими звуками.

Местный патер окрестил ребенка на другой же день после похорон матери и, не зная, какое дать имя, дал то, которое было наиболее распространено в Сионе и во всей Сионской долине. Благодаря старинному вековому монастырю, Бог весть когда выстроенному на вершине одного из двух холмов во имя святой Екатерины, это женское имя было любимое во всей маленькой стране; вследствие этого и новорожденная была окрещена этим именем.

Целое лето прожила Тантина в Сионе.

Чувство ее к малютке было настолько сильно, что не позволило ей за целые шесть месяцев ни разу отлучиться к себе за два часа езды.

Соседка Каролина управляла постоялым двором, приезжала со счетами к хозяйке, звала ее хотя бы на один день ради разных дел, которые она могла решить одним своим присутствием, но Тантина упорно отказывалась. Если бы ей грозило полное разорение, то и тогда бы она не покинула свою случайную, но дорогую питомицу.

Между тем за это время старушка намучилась немало. Она вставала и ложилась с одною мыслью – что будет завтра? А завтра, быть может, приедут чужие люди, возьмут малютку, распорядятся ею как своей собственностью, а Тантину отправят домой. Она уже готова была даже согласиться ехать на чужбину за этим ребенком, но возьмут ли? Конечно, нет. Аристократы северных стран, как все уверяют, особенно горды и надменны.

Епископ среди лета часто, по крайней мере раза два в месяц, справлялся, заходил сам в дом, где поместил малютку, и приветливо расспрашивал Тантину обо всем, касающемся девочки.

– Берегите ее! – повторял он. – Я все жду ответа и приезда тех, кто имеет на нее родственные права. Впрочем, ручаться не могу, быть может, никто и не приедет, хотя это было бы очень странно.

Под конец лета епископ заехал однажды к Тантине и объявил ей, чтобы она приготовилась расстаться с девочкой, так как в скором времени должен прибыть один важный господин, который увезет ее к себе.

– А вы тогда вернетесь к себе в дом, и, вероятно, он щедро вознаградит вас за все ваши хлопоты и заботы.

Старушка в ответ только залилась слезами и затем объяснила епископу, что встреча с покойной иноземкой и попечения, которые она взяла на себя о младенце, были, конечно, посланы ей в наказание, так как снова она привязалась всем сердцем и снова должна потерять любимое существо. И когда епископ собирался уходить, Тантина решилась на вопрос, волновавший ее в последнее время. Она пожелала узнать мнение епископа, возьмет ли ее важный

барин с собою вместе с ребенком в качестве простой няни, так как она почти решилась следовать за ребенком куда бы то ни было.

Епископ покачал головою и своими тонкими злыми губами усмехнулся.

– Вы сами лучше меня понимаете, моя милая, что это невозможно. Вы – свидетельница, соучастница, одним словом, вы знаете если не всю тайну, то знаете кое-что о рождении ребенка. Я не думаю, чтобы тот, кто приедет, согласился взять с собою в лице вашем обузу и неудобного свидетеля того, что там, в их стране, пожелают скрыть. Нет, моя милая, на это вы не надейтесь.

И с этого дня Тантина ходила темнее ночи и в течение следующего месяца даже постарела немного.

И старушке все чаще и чаще приходило на ум безумное намерение тайно бежать с этим ребенком из родной страны, захватить с собою небольшой капитал, собранный в торговле на постоялом дворе, и, поселившись в глуши другого кантона, прожить остаток дней своих счастливо.

Но честная старуха чувствовала, что этого сделать она не вправе. Почем знать, что готовит будущее этому младенцу? Почем знает она, чего лишит ребенка: быть может, богатства, славы, роскоши. Там, на родине, она сделается аристократкой, выйдет когда-нибудь блестящим образом замуж за какого-нибудь барона, а здесь, в горах Швейцарии, что может дать она девочке? Какую долю? Жизнь и обстановку простой поселянки, которая должна будет сама готовить себе кушанья и стирать белье. Украсть ребенка, особенно при таких обстоятельствах, казалось Тантине таким великим и тяжким грехом, на который, конечно, она не могла решиться. И старушка готовилась получить в сердце последний удар, то есть отпустить малютку с тем, кто приедет за ней, и затем, вероятно, вскоре умереть и самой.

С последнего посещения епископа прошло около месяца.

Уже наступила ясная, но свежая по ночам осень. Горы снова стали покрываться снеговыми шапками, и эти белые серебристые шапки все более и более надвигались и спускались ближе к долинам. После каждого осеннего свежего дождя на горах увеличивались снеговые глыбы.

Однажды в пасмурный, сырой день явился от епископа посланный за Тантиной.

Сердце дрогнуло у нее. С полгода епископ всегда сам заезжал к ней, а теперь если он требовал ее к себе, то, очевидно, предстояло последнее объяснение и передача ребенка с рук на руки.

Тантина, более смущенная, чем когда-то в день смерти чужеземки, оделась поприличнее, дрожащими руками повязала свой вечный черный чепец и в первый раз в жизни переступила порог дома епископа и кардинала.

Долго заставил прелат дожидаться старушку и наконец позвал к себе.

– Ну, моя милая, – сказал он, не подымаясь с кресла, на котором сидел перед своим столом, заваленным книгами. – Дело с вашей маленькой пришло к неожиданному для меня концу. За ней никто не приедет. Ее там бессердечные и гордые люди знать не хотят.

Тантина вскрикнула и, готовая упасть, невольно схватилась рукою за край письменного стола, около которого стояла.

– Да, ее не желает принять семья. Она обречена сделаться вольной гражданкой Сиона. Я завтра же буду просить кого-нибудь из здешних богатых граждан удочерить ее.

Старушка ахнула, и речь ее полилась потоком страшным и красноречивым. Она стала умолять его преосвященство не делать ее несчастною, позволить ей взять ребенка к себе и передать ему со временем все свое маленькое состояние.

– Положим, что она будет немного богаче, если кто-либо из здешних граждан примет ее к себе, но зато, поверьте, она не будет счастливее, так как никто никогда не будет ее любить, как я.

Епископ молчал. Тантина была слишком добра и наивна, чтобы заметить ту лукавую улыбку, которая бродила на лице прелата.

– Я, право, не знаю, моя милая, как это сделать. Это почти невозможно.

Тантина обошла большой письменный стол и упала к ногам епископа. Она рыдала и не могла произнести ни одного слова.

– Не убивайте меня! согласитесь! – вымолвила она наконец, целуя полу длинного кафтана, подбитого лиловой тафтой.

– Перестаньте! – сухо выговорил прелат, – успокойтесь! Я не люблю слез и... всего этого... Возьмите стул, сядьте, успокойтесь и выслушайте меня.

VIII

Через несколько мгновений старушка, чувствовавшая, что она от тревоги совершенно не может оставаться на ногах, уже сидела на ближайшем стуле с глазами, полными страха, впивалась в гладко выбритое и лукавое лицо говорившего епископа. От него теперь зависело все!

Прелат тонко объяснил кроткой и наивной старушке, что, конечно, он может отдать ребенка и ей, но что он опасается, не вышло бы тут какой-либо путаницы. Тут остались вещи покойной и кое-какие деньги, конечно, немного, наконец, кое-какие бумаги и документы. Передать ребенка ей вместе со всем, что осталось после покойной, невозможно, это произведет со временем всякие недоразумения.

Епископ говорил долго, подробно, но Тантина, слушая всеми своими чувствами, прислушиваясь и разумом и сердцем к каждому слову прелата, все-таки ничего не поняла из всей его длинной речи.

Епископ, очевидно, сам не знал, что хотел сказать, или, вернее говоря, путал и не хотел сказать самого главного.

– Но, наконец, что же нужно сделать? – произнесла Тантина с такою энергией, что даже сама себе удивилась. – Я на все согласна, что вы прикажете, только отдайте мне девочку. Я – признаюсь вам – ничего не поняла из всего вами сказанного. Что нужно – приказывайте, я все исполню.

– Нужно, моя милая, – как-то нерешительно заговорил епископ, – взять девочку и больше ничего не брать. Все остальное я пошлю туда, к ним, далеко: вы даже не знаете и не слышали, быть может, о той стране, куда это все поедет. Понимаете ли вы? Вы возьмете ребенка, но ничего не возьмете из вещей.

– И только-то? – воскликнула старушка, и лицо ее просияло.

– Нет, это не все. Если вы хотите сохранить ребенка, не лишиться его когда-либо, то вы должны вместе с ним покинуть вашу деревушку и постоянный двор и уехать далеко отсюда. Я не требую, чтобы вы уезжали в другую страну, в Германию или Италию, где вы, не зная языка, совершенно пропадете, но я требую, чтобы вы переехали в другой кантон, хотя бы соседний, и чтобы никто из ваших знакомых, никто из здешних жителей не знал места нового вашего жительства. Понимаете? Чтобы ваши следы исчезли и чтобы, кроме меня, никто не знал, где вы. Вот главные условия.

Тантина с сияющим лицом искренно созналась епископу, что это сделать даже нетрудно, так как еще недавно у нее была именно эта греховная мысль: украсть ребенка и бежать с ним. Но тогда она не могла решиться на это; теперь же она сделает это по приказанию его преосвященства и, следовательно, исполнит это свято, не считая грехом.

– Очень рад, что вы соглашаетесь, – вымолвил едва слышно епископ своими тонкими губами, – но еще одно условие, и самое трудное или самое легкое, смотря по тому, что вы за женщина. Я вам даю слово, которое свято сдержу, что эта девочка останется у вас на вечные времена, по крайней мере, на столько лет, сколько вы еще проживете на свете, если вы сохраните свое местожительство в тайне от всех. Наоборот, если кто-либо в Сионе или долине, помимо меня одного, узнает, где вы живете, то я немедленно собственной властью отниму у вас ребенка и передам в другие руки. Если вы не болтливы и женщина серьезная и умная, то вам легко будет исполнить это условие.

– О, об этом не беспокойтесь! – воскликнула Тантина таким голосом, каким, быть может, говорила, когда ей было двадцать лет.

Действительно, старушка теперь преобразилась, помолодела, ее глаза, голос и жесты были другие.

Епископ встал со своего кресла, подошел к большому бюро, вынул оттуда небольшой крест на цепочке и вернулся к старушке.

– Вот единственная вещь, которую вы получите, будете беречь и передадите когда-нибудь девочке на память о матери, которую она не знала. Тут буква, которую я советовал бы вам стереть чем-нибудь; даже и этого маленького следа не надо оставлять. Эта буква когда-нибудь будет только смущать будущую девушку. Затем я мог бы, конечно, отдать вам кое-что из разных тряпок, но – посудите сами – зачем вам эти разные бархатные и атласные платья? для чего? Вы их носить не станете. Если бы вы когда-нибудь в горах надели такое платье, – усмехнулся епископ, – то, конечно, вас сочли бы за безумную. А когда девочка вырастет и ей будет двадцать лет, то и ей в том положении, которое судил ей рок, тоже нельзя будет носить этих платьев.

Затем, повторив снова строго и подробно все, что было уже сказано, взяв снова клятву от старушки исполнить все условия, прелат отпустил ее.

И Тантина, взяв полученный золотой крест, который она видела на покойной еще в тот день, когда та останавливалась у нее на постоялом дворе, сжимая его в руке, молодой, бодрой походкой, чуть не бегом спустилась по крутым лестницам епископского замка, пробежала, задыхаясь от радости, через внутренний двор и, не помня себя, плача от восторга, побежала домой.

Ребенок был в люльке и крепко спал. Но Тантина взяла крошку на руки, разбудила и покрыла поцелуями, а затем с ребенком на руках прослезилась и долго плакала.

Нет, не в наказание послал Господь ей встретиться с этой чужеземкой, присутствовать при ее кончине и наследовать от нее то, что составит теперь счастье ее жизни. Сколько раз повторяла она, что ей нечего больше ждать от жизни, и сколько раз в молитве ее слышался грешный укор Провидению, а между тем Господь готовил ей счастье на остаток дней.

Покуда Тантина покрывала малютку слезами и поцелуями, епископ ходил из угла в угол по своему кабинету и ухмылялся.

Он исполнил свой долг: он написал куда следовало, прося приехать за ребенком, за вещами и деньгами, но получил оттуда отказ и просьбу поместить куда-нибудь малютку на воспитание, скрыв все следы, позорные для знатной семьи; а деньги, какие найдутся, отдать тем, кто примет девочку к себе.

Денег этих, чего и Тантина не знала, было, быть может, немного для покойной, но было бы огромной суммой для Тантины, если бы епископ свято исполнил долг свой. Денег этих было десять тысяч, светленькими новыми луидорами, которые получила на дорогу в Париж несчастная женщина, покоящаяся теперь на кладбище чужого города.

Решив мысленно, к кому перейдут красивые платья и дорогие вещи умершей чужеземки, епископ подошел снова к бюро и достал пакет, который когда-то передала ему приезжая молодая женщина. Этот пакет был уже давно распечатан епископом. Он знал содержание нескольких бумаг, данных ему на хранение на случай смерти, которой так мало ожидала молодая женщина. Он знал все о ней из этих бумаг, из устного признания, из того ответа, который получен из далекой земли. Он знал все до мелочей. Но как было все это не важно, не любопытно для сионского епископа и для всякого сионского жителя! Целая драма там, в далекой стране, при пышном дворе блестящего короля, здесь была маленьким происшествием, годным только для болтовни соседок, для беседы кое о чем в часы досуга.

Епископ взял пакет, вынул из него несколько бумаг, пересмотрел их вновь равнодушным оком и затем, подойдя к камину, поднял было руку, чтобы бросить все в огонь, но вдруг остановился. Что-то ему непонятное остановило его руку. Быть может, тень этой бедной женщины, схороненной на сионском кладбище, остановила поднятую руку епископа. Быть может, душа матери явилась заступницей за несчастного ребенка, отданного доброй и любящей ее старушке, но все-таки брошенного на произвол судьбы.

Епископ постоял несколько мгновений и выговорил будто в ответ своим мыслям:

– Конечно, что ж с ними делать? Зачем я их буду хранить? Никому они не нужны. А если бы когда кто-нибудь из них захотел взять девочку, то они и без документов знают, кто она. А я могу указать всегда, где ее найти.

И епископ небрежным движением руки швырнул бумаги в огонь.

Синий дымок заструился над придавленным огнем, потом вдруг вспыхнуло большое, яркое, колеблющееся пламя, и через мгновение только тонкие, легкие, черные, покрытые пеплом паутинки заколыхались среди углей.

И в этот миг решена была судьба целой жизни человеческой. Если бы себялюбивый, с холодным разумом и черствым сердцем прелат знал, что он делает, то, конечно, рука его не поднялась бы.

Впрочем, какое-то странное чувство овладело им, когда он увидел черный пепел, колышущийся в камине. Ему как-то стало скучно, он огляделся в своем кабинете, отыскал свою шляпу, взял высокую кардинальскую трость и вышел прогуляться во двор замка под вековые дубы.

И странное чувство выгнало его из дому. И впрямь, быть может, тень этой бедной женщины, назвавшейся Людовикой, теперь бродила по этому замку и томилась тем, что не дано было ей остановить руку злого человека; не дано было спасти оставленную на произвол судьбы сироту от той участи, странной и горькой, которая ее теперь постигнет.

IX

Прошло более четырех лет.

Около устья Роны, там, где вливается она в Женевское озеро, между зеленой долиной и синеватым Леманом, на высоком холму стоит, как часовой над всею окрестностью, старинная развалина, остатки высокой башни Святого Трифона. Несколько домиков, составляющих деревушку, носят имя башни.

Именно здесь в одном из домиков поселилась около четырех лет тому назад покинувшая родину старушка Тантина.

Но за это время старушка скорей помолодела, чем постарела. При ней милый ребенок, ее сокровище.

Маленькая Катерина, или, как зовут ее по местному обычаю, Катрина, известна всей деревушке и в околотке как замечательно красивый, замечательно живой и умный ребенок.

Таинственность, которою окружает себя старушка, разумеется, с самого начала привлекла к ним общее внимание.

Тантина не умеет и не хочет лгать. Она не сказала, поселившись здесь, откуда она, но она знает наречие гор и, стало быть, происхождением швейцарка. Тантина не называлась бабушкой этого ребенка, а созналась, что крошка ей чужая.

Впрочем, это мог бы заметить всякий внимательный взгляд. Четырехлетняя девочка чем-то неуловимым для глаза простолюдина отличается от всех соседских детей. Звук ее голоса особенно гармоничен, черные как смоль волосы, черные большие блестящие глаза напоминают скорей тех итальянцев, которые часто пешком пробираются через Швейцарию. Живой ребенок особенно смышлен для своих лет: поражает и ставит в тупик не только старушку, но и соседей. Она знает всех детей деревушки и домиков, разбросанных по долине. Она часто играет с ними, и, несмотря на то, что некоторые на два, на три года старше ее, она, незаметно для себя и для них, повелевает ими во всех играх, и главная роль принадлежит ей. Иногда она командует и ослушников наказывает и идет жаловаться Тантине, что нет никакого слада с детьми. Ее зовут в шутку поселяне *la petite duchesse*⁴. Тантина, да и соседи, конечно, без ума балуют девочку.

Когда-то, исполняя охотно и даже с восторгом приказание епископа сионского, старушка продала все свое имущество, перебралась через горы и, спустившись в другую долину, стала искать места, где купить клочок земли и поселиться.

Холм Святого Трифона и эта развалина напоминали ей немножко Сион, и она решилась поселиться тут.

Теперь между нею и Сионом были высокие горы и, между прочим, горы Дьяблере. Дня два пути по горным тропинкам было достаточной охраной. Она считала, что достаточно исполнила волю епископа, хотя все-таки схитрила и не сказала ему выбранного местожительства.

Сначала Тантина была вполне счастлива. День и ночь, ежечасно и ежеминутно она была около маленькой Катрины и, выйдив ее, могла радоваться теперь на здоровенькую, сильную и живую девочку, которая при этом была еще вдобавок очень красива.

Но теперь старушка часто задумывалась. Она с каждым днем все более и более замечала в этом ребенке нечто такое, чего не видала никогда ни в своих внучатах, ни в детях соседей. Это не был ребенок их среды. В нем являлись, бог весть откуда, замашки, привычки, склонности, в которых, конечно, ее воспитательница не была виновата. Да и никто не был виноват, кроме породистой крови, которая текла в ее жилах. Недаром звали ее маленькой герцогиней.

Ребенок, которому было уже около пяти лет, был счастлив только тогда, когда Тантина, при своих скудных средствах, покупала у проезжего купца с товаром какой-нибудь клочок

⁴ Маленькая герцогиня (*фр.*).

яркой материи и затем надевала на Катрину новенькое платьице. В этот день Катрина не резвилась, не каталась кубарем в траве, не играла и не бегала, а важно выступала своими маленькими ножками, вскидывала головку и с достоинством оглядывала всякого проходящего если не с высоты своего крошечного роста, то с высоты своего внутреннего величия.

Ни один прохожий не удалялся, не подивясь на эту крошку и не вымолвив местного восклицания:

– О боже мой!

Это восклицание у жителей долин Роны и Сионны означает многое. Тут и изумление, и радость, и иногда нетерпение; чаще же это непрменный атрибут всякой беседы. Глянув на красивую крошку, всегда восклицали добродушные поселяне свое:

– О боже мой!

Помимо того что девочка уж очень обожала наряды, она постоянно находила возможность и иначе украшать себя. Она заплетала венки своими маленькими ручонками, делала букеты из полевых трав и все это нацепляла на себя или на черные как смоль волосы или прикалывала на грудь, на плечи. Иногда она набирала ягоды рябины, заставляла Тантину нанизывать их на ниточки и украшала себя пунцовым ожерельем.

Однажды, найдя на берегу Роны красивый, ярко-желтый камушек, она, никогда отроду не выдавшая женских украшений из золота и драгоценных камней, сама догадалась, как нацепить на себя этот камушек. Она заставила соседа-старика, тоже баловавшего ее, просверлить камушек, продеть в него шнурочек и затем прицепила его на пуговку своего платья.

Все это забавляло всех в деревушке Святого Трифона и заставляло вздыхать только одну Тантину. Старушка не дальнего ума, но благодаря чуткому сердцу понимала, что этот ребенок, выброшенный судьбой из той колеи жизни, в которой должен был жить, не будет счастлив в той обстановке и той среде, которую Тантина готовила ей. Добрая старушка начинала раскаиваться, что когда-то воспрепятствовала епископу отдать ребенка на воспитание кому-нибудь из богатых граждан Сиона.

Девочка, очевидно, со временем будет замечательной красавицей. Оставаясь в таком городе, как Сион, она могла бы выйти замуж за самого богатого и знатного сионского жителя. Теперь здесь, в деревушке, у ног развалин башни Святого Трифона, какая может быть ее судьба? Она не может быть счастлива здесь. Когда она вырастет, ей понравятся те же украшения, но она уже не удовольствуется бусами из рябины и венками из полевых цветов, она захочет достать их, а как? Вдобавок, когда она станет молодой девушкой-красавицей, она уже будет сиротой. Тантина не может дожить до того времени, когда ей будет восемнадцать лет. На кого же она останется? На попечение обитателей бедной деревушки. Но разве она будет любить их и повиноваться им? Она уже теперь, четырех-пяти лет, командует всеми, даже взрослыми.

– Что же будет с ней! – думала и повторяла ежедневно без конца, смущаясь все более, кроткая Тантина.

Наконец, за последнее время случилось новое маленькое происшествие, которое обрадовало, но и смутило Тантину.

Один из торговцев, купец, раз в месяц объезжавший все деревушки и местечки долины, шутливо побеседовав с красивой и бойкой девочкой, заметил, что это замечательный ребенок. Затем болтливый купец, кстати, рассказал Тантине, что он слышал с месяц назад в Сионе, что какие-то важные господа разыскивают пропавшую девочку и говорят, что эта девочка была тоже замечательная и что ее, вероятно, украли цыгане.

Сердце дрогнуло в Тантине. То, о чем она так часто думала и чего боялась, так походило на рассказанное купцом. Но ведь ту девочку знал целый Сион и думают, что украли ее цыгане, а ведь Катрину она увезла шестимесячную. Но если купец перепутал, если в Сион приехали они с дальнего севера и ищут теперь ее Катрину, чтобы отнять ее и увезти? Если бы старушка

сказала епископу, где она поселится, и не обманула его, то, быть может, теперь этой дорогой крошки уже не было бы при ней...

Болтун купец уехал, а Тангина призадумалась.

Х

Прошло месяца два... Тантина уже отпраздновала давно день рождения своей Катрины, созвала соседей, угостила их хорошим и дорогим невшательским вином и давно забыла и думать о рассказе болтуна купца.

Однажды в июньский жаркий день у одной из хижин остановился всадник, слез с лошади и, войдя в небольшую хижину беднейшего из поселян, попросил напиться воды.

Хозяин хижины поспешил исполнить просьбу. Незнакомый проезжий был, очевидно, важный барин, красивый лицом, с горделивой осанкой. Вдобавок его французский язык отличался чужеземным акцентом.

Напившись воды, он присел отдохнуть на скамейку около крылечка и стал равнодушно беседовать со стариком.

Вопрос следовал за вопросом: много ли хижин разбросано вокруг развалин Святого Трифона, много ли поселян и все ли они родом отсюда или есть и переселенцы, и, наконец, после пяти-шести вопросов, на один из ответов поселянина, незнакомец пристально, сверкнув глазами, глянул в лицо его и повторил ответ.

– Вы говорите, что она, эта старушка, нездешняя?

– Нет, сударь, она года с три или четыре поселилась у нас, а откуда, право, не знаю. Да, кажется, это и неизвестно... А что с ней маленькая девочка, так вы ее даже можете видеть. Вон, смотрите направо от развалин, где раскинулась большущая ракита. Видите вы красное пятнышко?

Незнакомец встал со скамейки быстрым движением и пристально стал смотреть вверх на высокий холм, на котором, венцом обхватив вершину, рисовались отчетливо на синем небе живописные развалины старинного векового замка. Среди зелени действительно двигалось красное пятнышко.

– Вижу, – выговорил незнакомец.

– Ну, вот это она, эта девочка. Она почти всегда в красных платьицах ходит. Балует ее старушка.

Проезжий снова сел на лавку, но перестал расспрашивать... Он изредка взглядывал вверх, в ту зеленую чашу, сплетающуюся у подножья полуразрушенной башни, и следил глазами за мелькавшим маленьким пятнышком.

Затем, попросив еще стакан воды, он поблагодарил хозяина, попросил его побереечь лошадь, покормить, а сам выразил желание побродить немножко ради прогулки.

– Да вы бы пошли в развалины, – сказал старик. – Стоит взлезть, хотя и высоко. Оттуда такой вид на всю долину Роны и на все Женевское озеро, какого вы никогда во всем мире не найдете.

– Да, пожалуй. Увижу, может быть, и пройду, – нерешительно и рассеянно проговорил красивый незнакомец и размеренным шагом отошел от хижины, повернул на горную тропу и скрылся из глаз старика.

– Чужестранец, а между тем, вероятно, не издалека, – подумал старик. – При седле его нет дорожных мешков, он не в дороге, а будто на прогулке. Вероятно, из какого-нибудь соседнего городка, может быть, из Лозанны. Может быть, ищет себе землю купить. Может быть, о ценах на вино справляется, – болтал сам про себя старик, расседывая красивую лошадь.

Между тем проезжий, скрывшись из глаз старика, уже не медленно, а особенно быстрой походкой двигался по каменистым тропинкам, взлезал на холмы и, не зная дороги, пролезал через ограды, а сам не спускал глаз с развалины, рисовавшейся теперь высоко над его головою. Он, очевидно, не шел прогуляться. Он шел именно к этой башне, и спешил.

Через несколько минут крутого подъема незнакомцу показалось, что тропинка снова спускается и удаляется в сторону, тогда как башня остается над головою его справа.

Недолго думая, он решил и вступил в густую чащу, намереваясь лезть напрямик. Оборвавшись два раза, расцарапав себе руки в кровь о терновые кусты, он наконец очутился в нескольких шагах от серых, зелено и мхом покрытых стен крайней башни.

Он огляделся кругом. Но не цветущая долина, расчеркнутая пополам синей Роной, не дальние зубцы гор, подпирающие небо, не голубое озеро, развернувшееся вдали перед его глазами, привлекли его внимание. Он озирался кругом себя на ближайшем расстоянии. По его соображению, именно здесь... мелькало это красное пятнышко.

Тяжело переводя дыхание, вероятно, от усталости, а быть может, и от внутренней дрожи в сердце, незнакомец, не найдя ничего на вершине холма, тревожно прислушался. Детский голосок, напевавший какую-то песенку, слышался из развалин.

Он быстро двинулся, взлез на веками наслоившиеся гранитные глыбы и вступил в середину развалины. Прохладой, сыростью, мхом пахнуло на него.

В полусумраке одной большой башни, будто изорванной веками на клочки и превращенной в какие-то тяжелые гранитные лохмотья, он увидел двух девочек. Одна девочка в пестром платье лежала на земле и дремала. Другая, в красном платице, крошечная, красивая, что-то делала крошечными пальчиками и пискливо, но верно, гармонично напевала свою песенку.

Появление незнакомого господина испугало ее. Она вскрикнула и вскочила. Девочка уже лет двенадцати проснулась и тоже вскочила, и обе они перепуганно смотрели во все глаза, как на привидение.

– Не бойтесь меня, дети! – выговорил он неровным голосом.

Девочки, и большая, и крошка, стояли неподвижно.

Незнакомец пристально, напрягая всю силу зрения, пригляделся к крошке, увидел ее смуглое личико, большие, полные огня черные глаза и вдруг произнес что-то на чужеземном наречии, произнес странно, будто простонал. Или, быть может, счастье, быть может, восторженная радость сказались в этом вопле. Быть может, это личико маленького ребенка, которого он никогда в жизни не видел, было ему хорошо знакомо.

И вдруг, будто достигнув давнишней цели, давнишнего желания, будто достигнув пристани после долгого странствия, он молча, тихо опустил на ближайший камень и вздохнул.

Даже старшая девочка, глядя на него, теперь догадалась и подумала:

– Обрадовался этот человек, что долез наконец до башни, и сел отдохнуть.

Обе девочки, конечно, тотчас же выбежали из развалин и припустились домой из этого всегда тихого и мирного уголка, где никто никогда не беспокоил их и где теперь появился чужой, и поэтому страшный, человек.

Но если обе девочки с изумлением и испугом, добравшись домой, рассказали каждая у себя о приключении, то, в свою очередь, старушка Тантина испугалась еще более. За последние дни ей все мерещилось осуществление ее давнишних опасений.

Маленькая Катрина была настолько умна, не по своим летам понятлива, что могла рассказать Тантине многое – этот господин не живет здесь, этот господин в синем платье, на нем золотые пятнышки или пуговицы. Бороды и усов у него нет, сапоги у него как вода блестят и на поясе что-то вроде палочки или ножика. Он говорил с ними, просил не бояться, но они убежали.

Тантина немедленно отправилась в дом большой девочки и расспросила ее. Действительно, та, уже двенадцатилетняя, могла рассказать подробно, но передала все то же, что и крошка Катрина.

Едва старушка вернулась домой, как около ее домика появилась фигура того же господина, который перепугал детей. Он шел тихо, равнодушно оглядываясь по сторонам, наконец приблизился к Тантине, сидевшей у крыльца дома, и вежливо поклонился ей.

Лицо его было красиво, осанка изящна, но старушке не понравилось это лицо. Несмотря на красоту, ей чудилось в нем олицетворение дьявола, олицетворение горя, бед, несчастий.

Незнакомец остановился, пригляделся к ней и вдруг вымолвил:

– Вы меня не узнаете, моя милая? А между тем я вас узнал. Ведь вы из Вильи?

Тантина переменялась в лице.

– Ведь вы держали постоянный двор? Помнится мне – он был под вывеской «Золотого Льва»?

Тантина онемела и посинелыми губами проговорила:

– Нет.

Но она так не умела лгать, что это «нет» говорило: да.

– Не скрывайтесь! – засмеялся незнакомец. – Зачем вам скрываться. Я еще недавно был в Сионе и спрашивал, все ли вы живы и держите постоянный двор, и мне сказали, что вы уехали куда-то. Я вас сразу узнал. У меня память лучше вашей. Я когда-то несколько раз, лет с десять назад, останавливался у вас с моим отцом на пути из Лозанны в Сион, и вы всегда кормили нас отличным обедом. Я помню даже – брали очень дешево. Отец любил у вас останавливаться. А вот я теперь здесь по окрестности рыскаю, хочу купить несколько виноградников. Но, вероятно, ничего не найду и придется опять ехать домой, в Лозанну.

Старушка несколько пришла в себя и уже более осмысленными глазами впивалась в лицо пришельца, прислушивалась к каждому его слову.

– Вы из Лозанны? – произнесла она наконец, чутко понимая, что иностранец лжет.

– Да, все наше семейство – уроженцы Лозанны. Но я долго отсутствовал на родине. Я учился в немецком университете, далеко отсюда, на берегах Рейна, и так долго прожил там, что даже говорить разучился, говорю точно иностранец. Но скажите, пожалуйста, вы можете дать мне дорогое сведение? Помните ли вы, невдалеке от вашего постоянного двора в Вильи был на склоне горы большой, известный в окрестности виноградник? Помните ли вы его?

– Да, хорошо помню, – вымолвила Тантина.

И вдруг ей показалось что-то особенное, сверкнувшее во взгляде незнакомца, и она смутилась. Ведь своим ответом она как бы призналась, что она из Вильи!

– Вот, видите ли, я желал бы купить его. Кому он принадлежит теперь?

– Не знаю, – все еще смущенная, вымолвила Тантина.

– Разве вы совершенно порвали всякие сношения с родиной? – беспечно и равнодушным голосом сказал он. – Вы, может быть, даже ничего не знаете, что там нового? Вы, может быть, даже не знаете, что епископ сионский недавно скончался?

Тантина ахнула и невольным мгновенным движением встала со скамейки.

– Как? Скончался?

– Да, недавно. Теперь ждут из Рима вновь назначенного. Ну, до свидания, – выговорил незнакомец и, поклонившись старушке, через ее плечо глянул на порог дома.

И в это мгновение взор его загорелся особенным огнем. Несмотря, быть может, на все желание, он не мог умерить силу блеска своих глаз.

Тантина невольно оглянулась, чтобы увидеть то, что так поразило незнакомца. На пороге стояла выбежавшая из дома Катрина.

Незнакомец быстро удалился, а старушка как пораженная стояла на том же месте.

Никто никогда за четыре года не приезжал сюда; таких же проезжих, как этот, и давным-давно не было. Но это еще не все. Никто никогда не взглядывал на ее Катрину так, как взглянул сейчас этот незнакомец. Сердце старушки с какою-то особенною силою подсказало ей, что чужие люди не смотрят так на чужих детей.

Через полчаса, обежав деревушку, Тантина узнала, что незнакомый господин останавливался здесь и, оставив лошадь, гулял в окрестности, а затем уехал, говоря, что даром только проехался к Святому Трифону.

Целый вечер просидела Тангина смущенная, опечаленная, и сердце у нее ныло. Она была уже глубоко убеждена, что появление этого незнакомца есть именно то, чего она так давно боялась и ждала.

А покуда старушка сидела понурившись и вздыхала, крошка Катрина лежала в своей маленькой кроватке, раскидав ручонки и ножки, обсыпав подушку своими черными как смоль густыми и лохматыми локонами. Она ровно дышала и крепко спала, набегавшись за целый день. И, вероятно, ей снилось что-нибудь веселое, потому что даже и во сне она улыбалась и тихо, будто радостно вскрикнула раза два.

XI

Несколько дней кряду была смущена и встревожена добрая Тантина.

Незнакомец, посетивший деревушку, не выходил у нее из головы. Между тем она не спускала глаз и не позволяла далеко отлучаться от домика маленькой Катрине. Передать кому-либо из соседей свои подозрения и опасения было невозможно. Происхождение маленькой девочки было тайной для соседей, и если бы им рассказать всю правду и поделиться своими опасениями, то, пожалуй, они найдут, что у Тантины менее прав на ребенка, нежели у незнакомца.

Прошло более недели. Незнакомец не появлялся более, о нем забыли и думать в деревушке, и кончилось тем, что и Тантина успокоилась, убедив себя, что она напрасно встревожилась и что ее собственное воображение рисует разные опасности там, где нет ничего.

Если бояться всякого проезжего и прохожего, то остается только запереть девочку в комнате и не выпускать никуда.

И Тантина, как бы против воли, всячески постаралась себя успокоить и после того дозволила девочке играть и бегать по-прежнему по всей деревне.

Катрина, уже начинавшая грустить, что ее все останавливает старушка и не дает далеко бегать, с радостью пустилась бегом по деревушке и через несколько минут была уже на своем любимом месте, то есть в башне Святого Трифона.

Между тем сердце Тантины угадало верно.

Чужеземец, появившийся в окрестностях, был именно тот человек, который имел на девочку более прав, нежели она.

Исчезнувший незнакомец поселился в городке Олоне, рассыпавшемся по скату горы, примкнувшей к долине Роны. Городок находился не более как в полутора верстах от домика Тантины.

Он приехал в Олон не верхом, а в экипаже и, остановившись на постоялом дворе, почти никуда не выходил.

Всем в окрестности было известно, что в Олоне временно проживает какой-то иностранец, но кто он такой, стар или молод, никто не знал.

Вместе с ним была молодая женщина, но не родня, а нечто вроде бонны, и молодой малый, исполнявший должность лакея, который ходил в простой блузе, точно так же, как и поселяне окрестности. Вдобавок иностранец пользовался услугами хозяина постоялого двора, так как молодой лакей с утра до вечера не бывал дома. Куда он исчезал – было совершенно никому не известно.

В действительности же человек этого незнакомого проезжего, переодетый в блузу, проводил свой день лежа в густом кустарнике, который окружал деревушку и башню Святого Трифона. Из этой чащи он несколько дней кряду следил за всеми передвижениями старушки и девочки.

В тот день, когда успокоившаяся Тантина выпустила наконец ребенка на свободу, молодой малый радостно прибежал на постоялый двор, перекинулся несколькими словами с баринном и тотчас же снова исчез.

Через час и незнакомец выехал, вдруг собравшись продолжать путешествие.

Версты за две от Олона экипаж остановился, незнакомец и женщина вышли из него и быстро направились к башне.

У женщины в руках в платке были завернуты разные мелочи и маленькая кукла.

Через час после этого оба вернулись снова, но на руках женщины была уже Катрина, веселая, румяная и занятая игрушками, которые получила.

Все сели в экипаж и помчались. До самой Лозанны часов семь летел экипаж, почти не останавливаясь нигде. Далее торопиться уже не было необходимости, так как следов похищения ребенка не оставалось никаких.

Но здесь началась беда непредвиденная и неожиданная. Девочка уже через час езды перестала радоваться и забавляться тем, как скачут лошади и вертятся колеса, и стала спрашивать Тантину. Вскоре она начала дико озираться на новые незнакомые лица, плакать и требовать Тантину. Волнение маленького существа достигло страшных размеров. Она все плакала, кричала, выбилась из сил и продолжала все-таки плакать. Несмотря на ласки, лакомства, поцелуи, обещания, несмотря ни на что, ребенок не успокаивался. Наконец от усталости и потери сил девочка задремала.

По приезде в Лозанну она снова проснулась, стала плакать еще более, дико озираясь кругом себя и дрожа от испуга, все требовала и требовала Тантину.

Крошка вела себя так странно, что пришлось даже в гостинице выдумать целую историю, чтобы отвлечь подозрение.

Через день или два нежного ухода за ребенком Катрина несколько привыкла и как бы полюбила красивого незнакомца, который все ласкал ее, дарил и убеждал звать его «папа». Но для маленькой Катрины это слово не имело никакого смысла, и девочка упорно продолжала по нескольку раз в день требовать Тантину.

Наконец, как последствие сильного потрясения, ребенок заболел и лежал в жару и бреду.

Те же лошади, тот же экипаж и тот же молодой малый по приказанию незнакомца поскакали обратно в деревушку Святого Трифона. Они должны были привезти старушку Тантину. Но она явилась бы сюда уже не в качестве прежней воспитательницы, а в качестве няни.

Но когда молодой малый, явившись снова в Олон, отправился для переговоров к старушке Тантине, объяснить ей все, назвать даже по имени того, кто увез девочку, и предложить ей ехать с ребенком на дальний север, он нашел вокруг домика Тантины много женщин, хлопотавших и одетых в черные платья.

У входа домика, у белой стены под ветвями и гирляндами адоиса и плюща, стояла гробовая крышка.

Старушка не вынесла удара и скончалась за день перед тем, признавшись соседям во всем. Впрочем, во всем этом не было никакого преступления. Видно, не судьба была бедной Тантине быть счастливой и иметь около себя хотя бы и чужого ребенка.

Посланный тотчас сообразил, что оставаться было опасно, что его могли арестовать и наделать много неприятностей его барину. В конце концов, конечно, не могло быть ничего серьезного; он знал, что барин похитил не чужого ребенка, но тем не менее огласка была бы для него неприятна.

Спустя полчаса посланный скакал обратно, везя известие в Лозанну, что старушка уже на том свете.

Несколько дней проболел ребенок, но когда выздоровел и полное сознание вернулось к нему, когда Катрина своими хорошенькими глазками увидела лицо того, кто ее похитил, то она улыбнулась и обрадовалась. Это уже был старый знакомый, или, быть может, во время болезни какой-нибудь тайный голос сказал малютке, что этот человек ей в тысячу раз ближе, нежели старушка, ее воспитавшая.

За эту улыбку отец восторженно взял ее из кровати на руки и не спускал с рук до вечера, покрывая ее поцелуями. А молодая женщина, обегав все лавки, усеяла мебель и пол горницы игрушками и всем, что только могло позабавить ребенка.

Но более всего, более игрушек занимало крошку то, что надевали на нее.

Она оглядывала себя сначала просто, затем, найдя зеркало, выбрала его своей любимой игрушкой. После простеньких платьиц, которые носила она в деревушке, и разноцветных камушков, которые носила на ниточках в виде четок, теперь на ней были шелк, и кружева, и

всевозможные вещицы. Пуговицы и пряжки блестящие, как солнечные лучи, и с камушками, которые сияли, конечно, не тем блеском, что те, которые она сама доставала в ручьях холма Святого Трифона.

Через несколько дней, когда ребенок вполне оправился, окреп и повеселел, путешественники двинулись далее... на север. На этот раз путь их длился около месяца.

XII

Прошло около пятнадцати лет.

За несколько часов езды от маленькой столицы маленького государства, города Киля, стоял недалеко от моря небольшой замок, но без башен, бойниц и зубчатых стен.

Это было большое здание простой архитектуры, несколько тяжеловатой. Со стороны моря он был закрыт большим парком, обнесенным каменной стеной. С противоположной стороны почти такая же каменная ограда окружала двор и несколько служб.

На этом поместье лежал отпечаток однообразия, скуки. Этот дом издали можно было принять за монастырь, или за больницу, или, наконец, за какое-нибудь казенное здание – училище, склад, казармы. Но, наблюдая вблизи за жизнью в этом поместье, пришлось бы откататься от этого предположения: слишком мирно и тихо бывало всегда в этом большом доме, и во дворе, и в парке. Теперь окрестные поселяне давно привыкли к странному, чересчур мирному строю жизни обитателей замка, но лет пятнадцать назад много толков было во всей окрестности.

Нежданно явился богач иноземец, скупил огромное пространство земли и тотчас же на пустом месте, но около рощи стал строить этот дом. Несмотря на большие размеры и всякие затеи, постройка шла необыкновенно быстро, и через полтора года после покупки земли уже все было в том виде, в каком оно теперь.

В этом поместье поселился богатый польский пан. Про него ходили всякие слухи. Одни говорили, что он должен был бежать из отечества, эмигрировать, другие уверяли, что он не был эмигрантом. Он назывался графом Краковским, но многим аристократам Киля было известно, что этот вымышленный польский магнат хотя и граф, но носил в действительности у себя на родине другую фамилию, известную и прославленную в истории Польши.

Но причины, побудившие его это сделать, были неизвестны. Во всяком случае, он не был изгнанником из своего отечества, так как получал большие доходы со своих поместий, оставшихся на родине.

Семейство, жившее в доме, состояло из трех лиц: во-первых, самого владельца, человека лет сорока, на вид несколько старше, сумрачного, вечно молчаливого и нелюдима. Уже прошло много лет, как он поселился здесь, а знакомых у него было очень мало. Сам он иногда бывал в Киле и посещал там главным образом лиц придворного кружка, но знакомые эти редко бывали в гостях у Краковского.

Во-вторых, с ним жила его сестра, старая девица, и была, подобно своему брату, такая же сумрачная. Однако насколько Краковский был молчалив, но добр и любезен со всеми, настолько старая девица была раздражительна и просто зла.

Вместе с ними жила молодая девушка девятнадцати лет, замечательной красоты, одаренная большим умом и самыми блестящими способностями. Она считалась воспитанницей и приемным сыном графа, но, как это бывает часто, все знали или чувствовали, что эта воспитанница, в сущности, его дочь.

Для самого графа эта красавица девушка была выше всего в мире. Можно было догадаться, что именно ради нее он бросил отечество и добровольным изгнанником поселился на чужой стороне.

Девушка была идолом в доме – начиная с владельца и кончая даже ребятишками соседних деревень.

Эту девушку звали Людовиной. Но так как в этой семье все было загадочно, то и для нее самой было загадочно это имя. Ей помнилось, что когда-то в детстве она жила в другой стране, где были высокие горы. Она ясно помнила, что тот дом, под кровлей которого она сознательно оглянулась на мир божий в первый раз, был мало похож на теперешнее ее жилище. Тот домик

был вдесятеро меньше не только замка, но и дома, в котором теперь помещались их кучера и привратники.

И девушка знала и догадывалась, что в ее жизни есть что-то загадочное, чего не хотят ей объяснить.

Она помнила хорошо, что когда-то ее звали не Людовикой, а иначе. Она догадывалась, что теперешний, обожающий ее названный отец действительно приходится ей отцом, но он никогда прямо этого не сказал ей. Он говорил только:

– Считаю меня отцом.

Во всяком случае, девушка обожала, насколько могла, своего названного отца.

Вместе с тем она инстинктивно не любила свою старую тетку, хотя та была с ней всегда ласкова. Но девушка, будучи еще ребенком, почувствовала, что эта старая тетка относится к ней неискренно и не только мало любит ее, но, быть может, и ненавидит.

Отношения были настолько спутаны, что граф, обожающий дочь, будто не знал или не замечал, как относится к девушке его сестра. Она же никогда не намекнула даже отцу о своем подозрении, что старая тетка ее не любит.

Красавица девушка знала только одно, что часто говорил ей отец: что большое состояние будет принадлежать ей, что доходы, которых они не могли тратить при их скромной обстановке, ежедневно увеличивают это состояние, что скоро оно удвоится и Людовика может выйти замуж за кого пожелает, хотя бы за принца.

Людовика не знала счета деньгам, но по нескольким фразам личностей, бывавших часто в замке, она могла догадаться, что будущее состояние ее действительно громадно.

Лица эти, часто бывавшие в доме почти всякий день, были люди особого рода, имевшие большое влияние на всю будущность молодой красавицы. Это не были простые знакомые графа. Это были ученые, профессора, художники, музыканты, даже поэты. Все они уже давно являлись сюда по одному делу: все они были воспитателями и учителями юной красавицы. И эта среда, в которой она росла с младенческих лет, теперь, конечно, принесла свои плоды.

Людовика отлично говорила на трех языках: польском, французском и немецком; легко читала и писала на двух модных языках, которые были нужны только для того, чтобы похвастать, то есть она знала по-латыни и немного по-гречески. Вместе с тем она любила живопись, умела рисовать, недурно пела, аккомпанируя себе на любимом инструменте – мандолине.

Когда в городе заходила речь о воспитании, или об искусствах, или знаниях, то всегда все приводили единогласно один и тот же пример – молодую красавицу, воспитанницу нелюдима окрестностей Киля.

Действительно, замечательная красота, ум, замечательное образование, всевозможные блестящие способности и, наконец, огромное состояние в будущем делали из молодой Людовики личность, выходящую из ряда вон.

И конечно, отец ее мог иногда мечтать о том, что эта девушка, которую он прячет от всех, с которой сам прячется почти от мира, из-за которой почти бежал из своего отечества, со временем может сделаться принцессой, а пожалуй, и великой герцогиней. Немало великих герцогов Германии были женаты на дочерях богачей магнатов.

За эти несколько лет жизни почти в захолустье граф Краковский действительно жил мечтою, что когда-нибудь эта обожаемая им дочь не только не будет скрыта от мира, а, напротив того, будет владетельной принцессой, пожалуй, даже королевой и центром целого края, в котором она будет блистать и красотой, и умом, и дарованиями. И когда он выдаст ее замуж, то снова вернется на родину и снова назовется своим прежним именем, не последним в истории его отечества.

Когда дочери было 6–7 лет, казалось, эти мечты являлись в тумане далекого будущего. Но день за днем, месяц за месяцем, из года в год, при монотонной обстановке дома время прошло быстро. И теперь это далекое будущее стало настоящим.

Теперь Людовике было уже около 19 лет, и можно было перестать мечтать об ее судьбе, а начать действовать. И за последние годы граф, сидевший всегда безвыездно в своем монастыре, как он сам называл это поместье, стал чаще и чаще отлучаться и путешествовать один, без дочери и сестры, с большой свитой из разных шляхтичей, поляков и немцев.

Людовика не знала причины этих отлучек отца. Он, обожающий ее, иначе никогда не относящийся к ней как с ласкою и нежностью, все-таки не говорил ей о причине своих путешествий. Но она тоже догадывалась. Ей казалось, что дело идет о том, о чем давно уже мечтает отец и мечтает она, – о замужестве.

Этот вопрос был поставлен тоже как-то загадочно. Отец действовал так, как герои тех сказок, которые слышала Людовика от своей няньки – уроженки Литвы. Она могла ожидать теперь изо дня в день приезда к ним какого-нибудь германского князя, пожалуй даже короля, который явится предложить ей руку и сердце, а равно и престол.

ХІІІ

В первые весенние дни 1761 года, когда окрестность оживала под первыми лучами теплого солнца, освобождаясь от снега, когда все ликовало и в природе и даже в деревушках, где играли ребятишки, в замке было особенно тихо.

В одной небольшой комнате окнами в сад среди богатого и изящного убранства задумчиво сидела юная красавица. Все кругом нее говорило о той среде, в которой она выросла и воспиталась.

Комната ее вряд ли походила на другие комнаты других молодых девушек знатных родов Европы. По стенам этой комнаты висели картины, рисунки всякого рода ее собственной работы, другие же, сделанные более искусною рукою, – работы ее учителей.

В углу, в большом шкафу, было много книг на пяти языках, и между ними было много любимых книг, хотя бы они были и по-латыни. Один маленький томик с золотым обрезом, в темно-коричневом переплете носил на себе ее вензель, вытиснутый золотом. Этот томик чаще всего попадался на глаза то на столе, то на кресле, на подоконнике, иногда мелькал под подушкой ее кровати, забытый там с вечера. Это был томик ее любимого поэта – Горация. И она могла, в сущности, не читать его, так как все сочинения его знала почти наизусть.

Тут же, на мебели и на этажерках, виднелись повсюду ноты. В углу стояла большая, необыкновенно изящной работы арфа. На стене около нее несколько инструментов: гитары и мандолины различной величины, а между ними одна, купленная в Венеции за большие деньги, была отделана золотом и драгоценными камнями. Эта мандолина была продана графу как инструмент, изготовленный свыше двух столетий тому назад.

В соседней комнате, большой и светлой, было почти то же самое: картины на стенах и на мольбертах, всевозможные инструменты, книги, ноты и между прочим большой орган, на котором играл часто профессор музыки, знаменитость из Киля. На этом же органе умела, конечно, играть и сама его владелица.

Здесь уже давно, с тех пор, что она себя помнит, бывали концерты, на которых присутствовали только отец ее и тетка и сами исполнители, не считая, конечно, десятка шляхтичей, игравших роль придворных в доме Краковского. Так как здесь собиралось все, что было самого умного, образованного и даровитого в Киле, то, конечно, об этих вечерах и концертах часто говорили в столице герцогства. Сами они считали себя таким же центром цивилизованного мира, как Веймар или в былые дни и Флоренция.

Давно уже сидела красавица Людовика, задумчиво и рассеянно глядя на портрет отца, висевший на стене. За эти дни она была особенно встревожена. Отец был в отсутствии, снова она оставалась одна с теткой.

И на этот раз отец не скрыл от нее, что серьезное дело, по которому он едет, касается ее и вскоре давнишние мечты станут явью.

Но этот странный человек, обожающий ее, все-таки не захотел сказать ей, чего она может ожидать, как устраивает он ее будущее. Она даже не знала теперь, куда поехал отец.

По некоторым нескромностям оставшихся окружающих лиц, по двум-трем намекам нелюбимой ею старой девы тетки она могла догадаться, что отец поехал далеко, что суженый ее – владетельный принц большого государства. Но молод ли он или стар, красив или дурен, добрый или злой – этого, конечно, никто не знал и никого это не интересовало, кроме самой Людовики.

Несмотря на нежные отношения отца и дочери, несмотря на обожание его, она никогда не смела заводить речь о вопросах самых важных.

Он говорил ей постоянно, что будущность ее будет одна из самых блестящих в Европе, но как, когда, спросят ли при этом ее мнение, – об этом она и упоминать боялась. В этом отце,

которого она любила, было что-то, чего она боялась. И когда отец рисовал яркими красками великое событие ее жизни в будущем, то есть замужество, то она поневоле тайно желала всем сердцем, чтобы это великое событие и эта блестящая будущность явились бы как можно позже – слишком были они загадочными.

Все, что делали для нее люди, обожавшие ее, делалось как-то холодно, странно, будто бы дело шло не о живом человеке, не о молодой девушке, а о каком-нибудь политическом событии, договоре, союзе, трактате.

В эти же самые мгновения за несколько миль от Киля скакал гонец с письмом от графа. В сумерки он был уже во дворе замка. Через несколько минут старая графиня получила длинное, на нескольких листах мелким почерком послание, а Людовика держала в руках маленькую записочку, переполненную нежностями, поцелуями, советами, подобными тем, что дают обыкновенно маленьким детям, но больше ни слова, никакой новости, ничего о себе и ничего, конечно, о том деле, по которому отец уехал.

Зато старая дева, призвав свою наперсницу, такую же старую деву, как и она, заставила ее читать себе письмо брата. И через час или два непрерывного перечитывания этого длинного послания старая дева знала в подробностях все то, что касалось Людовики, все, к чему она, по-видимому, относилась совершенно равнодушно, а быть может, даже и неприязненно.

Сама же юная красавица не знала ничего. Она тайком знала только, что тетка получила с гонцом самые важные вести, какие только могли быть, и что они касаются непосредственно ее. Вся в лихорадочной тревоге, она ожидала с минуты на минуту у себя в комнате, что тетка вызовет ее к себе и, предупредив, что она ничего не может сказать вследствие запрещения брата, все-таки после того что-нибудь проболтает.

XIV

Графиня, старая дева, лет на десять старше своего брата, была очень сохранившаяся женщина и на вид гораздо моложе, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет; но при этом – крайне некрасивая собой, долговязая, худая, с длинными неуклюжими руками, с твердой мужской поступью. Она постоянно носила черное платье, высокий черный чепец с большим бантом, подвязанным под острым худым подбородком. Большую часть дня она проводила за работой по канве с очками на носу. Это было ее единственное занятие и удовольствие. Дом был переполнен ее работами всех величин и родов. Некоторые из них, большие, висевшие по стенам, изображали копии известных художников Германии и Италии и по своей тонкой работе на мелкой канве не уступали знаменитым гобеленам.

Графиня и в молодости никогда не была красива собою, тем не менее и в ее жизни много лет назад была драма, и это событие юных лет оставило следы на ее характере.

Пятидесятилетняя графиня не была похожа на себя в двадцать лет. Когда-то она была некрасивая, но добрая и веселая девушка; теперь она была сухая, сумрачная, раздражительная и часто даже злая девица. А главное – она была загадочна и непроницаема даже для своего брата. Казалось, ее внутренний мирок был под железной броней, за которую ни один глаз никогда не смог бы проникнуть. Даже ее наперсница и любимица, исполнявшая должность лектриссы и помощницы в вышивании, несмотря на двадцатилетнюю службу у графини, не могла до конца ее узнать и не любила ее. Один остряк Киля – человек умный и образованный – прозвал графиню именем одной из трех ведьм шекспировских, которых повстречал Макбет.

Если все жившие в доме, начиная от красавицы племянницы и кончая ребятишками, служащими в доме, боялись и не любили графиню, то отчасти не за то зло, которое она могла сделать им. Она ограничивалась только постоянными ехидными поучениями. Ее не любили больше за тот непроницаемый мрак, который окружал ее личность. Про эту молчаливую нелюдимку положительно трудно было сказать: глупа она или умна. Граф считал сестру женщиной раздражительной от природы или от обстоятельств, но честной и доброй.

Драма, случившаяся в ее жизни лет за двадцать пять перед тем, была очень простая.

С шестнадцатилетнего возраста она была помолвлена и предназначалась в жены сыну одного польского магната. Около четырех или пяти лет были они женихом и невестой. Жених участвовал в войне Саксонии с Польшей и отличился. Графиня Иоанна, безумно влюбленная в красавца героя – жениха, считала день за днем, которые приближали ее к мгновению полного счастья.

Но за это время ее отец, несколько взбалмошный, гордый и яростный аристократ, стал мечтать о майорате своему сыну, которого даже не очень любил. Только родовая гордость заставила его додуматься до майората. Конечно, очень легко выхлопотал он и устроил это дело, и когда пришлось наконец говорить о назначении дня свадьбы дочери и о разных брачных условиях, то старый граф объявил, что вследствие учреждения майората он может дать за дочь вместо нескольких сот тысяч только одну сотню.

К ужасу и отчаянию невесты, в несколько дней все перевернулось. Решительная, пылкая молодая графиня бежала из дома отца в дом жениха и увиделась с ним в парке ради объяснения. Она верила в его чувства... А между тем она сама узнала из уст своего обожаемого жениха, что не отец его, а он сам отказывается от ее руки, не считая возможным жениться на бедной дворянке.

Здесь же, на дорожке, графиня лишилась чувств. Отсюда перенесли ее в домик какого-то поселянина, и, чтобы не компрометировать девушку, слуги молодого человека тайком отвезли ее обратно, в замок отца и полуживую, полусумасшедшую положили на траве близ главного

въезда в замок. Сторожевая собака на заре первая наткнулась на барышню, узнала ее, подняла лай и заставила сбежаться народ.

Побег ее, свидание с женихом и ужасный отказ его – вся эта сердечная драма осталась тайной для всех, и никогда за всю жизнь она не рассказала об этом ни слова никому. Но с этой минуты она переменялась, и теперь, спустя почти двадцать пять лет, она еще ясно и живо видела перед собой все последние подробности и снова, в который раз, часто переживала все те же муки озлобленного самолюбия, горечь сердца, разбитого на всю жизнь рукою человека, которого она боготворила в продолжение более четырех лет.

Когда отец ее спустя несколько лет умирал, то позвал Иоанну и, чувствуя, что он кончается, просил дочь отпустить ему его вину, простить за невольное зло, ей причиненное; только тогда, раз в жизни, Иоанна ответила:

– Батюшка, умирайте спокойно. Я вас не виню. Он не меня любил, а мое состояние, следовательно, я не была бы счастлива с ним.

После смерти старика и молодой граф и сестра вздохнули свободнее, избавившись от деспота отца. Все состояние, конечно, принадлежало теперь одному сыну, и он немедленно выделил сравнительно очень малую часть своей сестре, и поэтому графиня Иоанна, приняв ее, не пожелала отделиться и осталась жить с братом. И тогда еще очень юный брат сознался сестре, что у него есть своя драма, которую он тщательно скрыл от отца, что многое в этом событии уже непоправимо, но есть нечто, что можно еще поправить.

И молодой богач отправился путешествовать по Германии и собирать те сведения, которые были ему необходимы для дела, бывшего тайной для всех.

Через два года с лишком странствования молодой богач был в Швейцарии, в Сионе, и здесь впервые напал на след того, что искал.

Еще через год или полтора в окрестностях Киля и появился этот замок, в котором поселился выходец польский, граф Краковский со старой девой сестрой и замечательной красавицей, которую выдавал за воспитанницу.

Одним словом, та малютка, что родилась в Сионе и воспитывалась доброй Тантиной в долине Роны и была наконец украдена у башни Святого Трифона, – была эта самая красивая девушка, замечательно одаренная природой, которая теперь слыла за воспитанницу богатого графа и предназначалась в супруги какого-нибудь именитого принца или владетельного герцога.

И если около Киля польский граф с громким именем назвался графом Краковским, то и дочь свою, выдавая за воспитанницу, он назвал по имени матери – Людовикой.

Он сам обожал эту красавицу дочь – живой портрет матери до мельчайших черт лица, до мельчайших подробностей характера.

XV

Старая девица была живой загадкой для всех, кроме одного человека, ее духовного отца и капеллана замка.

Монах ордена Иисуса отец Игнатий был необыкновенно красивый человек лет сорока. Уже лет семь, что он был в доме графа и пользовался всеобщим уважением как за свое образование, за свою мягкость в сношениях со своей паствой, так отчасти и за то, что он пошел в иезуиты по призванию, отказавшись носить громкое аристократическое имя. Причиной, побудившей молодого человека назваться просто братом Иисуса, смиренным Игнатием, было то, что при громком имени он не мог наследовать от отца ни гроша состояния.

Личность эта была также отчасти загадочна; но капеллана любили в доме и знали, что он имеет безграничное влияние на ворчливую графиню и умеряет вспышки ее гнева.

Только одно существо в доме не только боялось, но ненавидело отца Игнатия. Это была молодая девушка.

За что ненавидела она иезуита, Людовика сама не отдавала себе отчета. С тех пор, что был он в доме, она кроме вежливости и внимания ничего не видела от него; зато она помнила хорошо ту минуту, с которой она стала ненавидеть иезуита.

Ей было уже пятнадцать лет. Все чаще и чаще виделись они, он учил ее богословию.

И однажды за одним из уроков, когда были они по обыкновению наедине, она пожаловалась на легкую головную боль. Духовник и учитель дал ей понюхать маленький флакончик, который вынул из кармана; но вместо ожидаемого облегчения она почувствовала страшное замирание сердца, и все исчезло у нее из глаз.

В то мгновение, когда сознание снова постепенно и тяжело возвращалось к ней, она прежде всего почувствовала, что чьи-то холодные губы покрывают нескончаемыми поцелуями все лицо ее. Смутно сознавая, что с ней, она была уверена, что когда вернувшиеся силы позволят ей открыть глаза, то она увидит испуганное лицо отца и улыбнется, чтобы успокоить его.

Кто-то взял ее в объятия и поднял с кресла, понес, она открыла глаза и увидела себя в руках отца Игнатия. Она вскрикнула, рванулась из его рук и едва не упала на пол.

Иезуит поднял на ноги весь дом, тотчас рассказал прибежавшему графу про обморок молодой девушки, про свой страх, про то, как он, схватив ее на руки, в испуге бежал с ней в комнату графини, чтобы поскорее подать ей помощь... Затем он снова давал ей и другим свой флакон, советуя давать нюхать его девушке.

Сметливая и хитрая, хотя и пятнадцатилетняя, красавица выхватила этот флакон из рук тетки и спрятала его в карман.

Через час все в доме успокоилось, только юная героиня одна в своей горнице давала нюхать флакон своей собачонке, ожидая каких-либо последствий. Затем она позвала горничную, заставила ее понюхать из флакона, затем она решила приблизить его к своему носу, но кроме кислого и отчасти даже приятного запаха ничего не нашлось в нем.

– Это другой! – решила Людовика.

Сначала девушке хотелось рассказать все отцу, но странные отношения с ним заставили ее промолчать.

И все пошло по-старому. Разница была только в одном – юная Людовика возненавидела отца Игнатия. Он относился к ней как-то безучастно, равнодушно, а вместе с тем, как показалось девушке, с этого самого времени началась тесная дружба между духовником и теткой.

И теперь часто Людовика, думая о своей обстановке, невольно останавливалась перед загадочностью своего существования. Все было загадкой: ее имя, которое переменялось, местожительство младенческих лет и нынешнее – тоже иное, отчужденность этой жизни от всего мира, от столицы, происхождение отца, который, быть может, действительно ей не отец,

не признается ей в этом, а между тем обещает ей все свое громадное состояние. Старая девица тетка тоже загадочна, ее дружба с этим ненавистным иезуитом еще загадочнее, их отношение к ней – совершенная тайна. Они всячески ежедневно доказывают ей, насколько они любят ее, пекутся о ней, даже обожают ее, и всякий день ежечасно молодая девушка чувствует всем своим существом, что они и иезуит – и тетка ненавидят ее.

В минуты уныния теперешняя девятнадцатилетняя красавица задумывалась о своем будущем, которое страшило ее. Все представлялось ей в черных красках, воображение рисовало ужасные картины в близком будущем.

Но эти минуты сменялись другими – минутами молодого веселья, беззаботности. Наконец-то теперь, быть может, через несколько дней, судьба ее должна была решиться. Она делается женою принца, которого разыскивает давно отец.

Этот принц явится сюда, увезет ее. Что ей тогда до отца Игнатия или до злой и загадочной старой тетки!

Уже совсем в сумерки, когда люди зажигали свечи во всем доме, когда зажигались два фонаря у главных ворот двора, зажегся и большой фонарь, висевший на цепи через весь двор, дворецкий дома доложил молодой барышне, что тетка просит ее к себе.

Молодая девушка прошла длинную анфиладу комнат, на другой конец замка. Она стограла нетерпением, ожидая что-нибудь узнать от тетки, получившей длинное послание от отца.

За две комнаты от кабинета графини Иоанны она встретила с гонцом, который незадолго перед тем передал ей маленькую записку. Она осыпала его вопросами о здоровье отца, о месте его пребывания, о котором он не упоминал, и о намерениях ехать далее или возвратиться.

Гонец, чистокровный латыш, бывший уже давно в услужении у графа, умный и хитрый, отвечал на все вопросы молодой барышни уклончиво, прибавляя, что она, вероятно, все узнает от графини.

Людовика прошла несколько печальная в комнату тетки.

Графиня Иоанна сидела по обыкновению за столом, где горели четыре свечи под колпаком. С одной стороны за тем же столом сидел отец Игнатий, ее неизменный собеседник по вечерам, с другой – компаньонка и лектрисса панна Юзефа.

Людовика, как всегда, подошла к тетке, подставила свой лоб к ее лицу, получила холодный, щекочущий, беззвучный поцелуй, какой-то формальный, обрядовый или казенный, затем почтительно раскланялась с друзьями тетки и села около нее на диван.

– Ты получила письмо от отца? – спросила графиня Иоанна.

– Точно так, тетушка.

– Что он тебе пишет о себе?

– Ничего особенного, даже совсем ничего. Не говорит ни слова ни о возвращении, ни о каких-либо намерениях. Вы, тетушка, вероятно, знаете что-нибудь и мне скажете.

– Да, я получила от брата письмо, в котором много нового. Но я, разумеется, не могу передать тебе содержания письма, хотя оно все полно тобой. Главное, я думаю, ты знаешь или, лучше, догадываешься, а подробности я не могу тебе сообщить. Да и не все ли равно? Через некоторое время ты будешь знать их лучше меня.

– Подробности, – подумала Людовика, – в них-то и вся сила!..

И ей вдруг пришло на ум откровеннее и решительнее говорить на этот раз.

– Тетушка, я надеюсь, что вы докажете мне свою любовь именно тем, что выдадите мне тайну, которая, как вы сами говорите, перестанет скоро быть тайной. Вы не можете себе представить, насколько я измучилась за последнее время при мысли, что судьба моя решается и вся жизнь должна скоро перемениться, а я окончательно ничего не знаю о том, что меня ожидает. Вы мне раз говорили сами, что отец странно и непонятно поступает, скрывая от меня то, что имеет влияние на все мое существование. Если бы вы теперь помогли мне, утешили

бы меня, хоть немного успокоили этой маленькой изменой отцу для меня, я бы, кажется, всю жизнь была потом благодарна вам.

Старая дева искоса взглянула на своего соседа.

Глаза отца Игнатия за последние годы ставшие как стеклянные от умения владеть ими, на секунду чуть-чуть блеснули как будто в ответ на взгляд графини.

– Что ж, – выговорила графиня, – я не прочь. Если вот духовный отец разрешит мне так невинно обмануть брата, то я готова все передать тебе, что знаю.

Отец Игнатий ровным монотонным голосом высказал мнение, что злоупотреблять доверием лиц нехорошо, а доверием брата родного тем паче дурно; но что, с другой стороны, он понимает положение юной красавицы, смотрит на нее человеческим оком и действительно ему жаль ее; а оправдать молчание отца в деле, которое так близко сердцу молодой девушки, он не может. В конце концов отец Игнатий, не разрешая, как бы разрешил духовной дочери обмануть брата из желания добра племяннице.

– Вот видишь ли, племянница, – начала графиня тихим голосом, не поднимая глаз от своей работы, которую держала в руках. – Главное ты знаешь. Зачем уже давно путешествует отец твой и зачем поехал теперь – тебе давно известно. Его мечта относительно тебя начинает теперь сбываться. Он нашел тебе жениха, о чем и уведомляет меня. Сам он приедет недели через три, а жених твой явится вскоре после него для обручения.

– Кто он такой? – вымолвила Людовика. – Имя его?

– Не все ли равно? Имя его ничего не скажет тебе. Я лучше сделаю, если скажу тебе, что он владетельный герцог. Хотя его государство невелико и состояние его ненамного превосходит состояние твоего отца, но он все-таки не простой аристократ.

Графиня говорила долго и много, но, однако, ни одной интересной подробности не узнала молодая девушка.

XVI

Через три дня после этого разговора с теткой Людовика узнала, что поутру явился в замок новый гонец от отца и привез снова письмо старой графине.

Напрасно на этот раз ждала она хотя маленькой записки для себя. Она даже решилась послать на половину тетки спросить, нет ли чего-нибудь и для нее. Графиня Иоанна велела отвечать, что кроме поцелуя от отца в ее письме нет ничего.

Она послала вторично спросить, скоро ли намеревается отец приехать, и получила в ответ, что скоро, а когда – неизвестно.

Немного печальная и задумчивая, Людовика села в любимый уголок своей комнаты, взяла свою любимую самую маленькую мандолину и, наигрывая штирийский горный напев пастухов, напев особенно унылый, вполголоса запела его, аккомпанируя себе на инструменте.

Вскоре явилась одна из ее горничных и объявила ей, что духовный отец просит позволения явиться к ней переговорить о весьма важном деле.

Людовика удивилась, бросила мандолину на диван и, поднявшись на ноги, осталась несколько минут неподвижна.

Она не знала, что делать. Этот случай казался ей крайне странным, так как иезуит уже давным-давно никогда не бывал в ее горницах иначе как вместе с теткой или с отцом. Во всяком случае, он бывал только при посторонних лицах; наедине им не случалось быть ни разу с тех пор, как между ними произошла эта странная сцена, когда с ней сделалось дурно. Она даже немного боялась остаться наедине с иезуитом.

Однако, подумав несколько мгновений, она усмехнулась и шепнула:

– Ведь тогда мне было лет пятнадцать, а теперь уже скоро двадцать.

И приказав просить духовного отца, она все-таки быстро распорядилась и посадила в соседней горнице свою любимицу Эмму, женщину пожилую, родом из Норвегии, которая уже давно была в доме и за последнее время исправляла около нее должность полугорничной, полуняни.

Отец Игнатий появился через полчаса, важно, неторопливо вошел в горницу, пристально поглядел в лицо Людовики своими холодными стеклянными глазами и после приветствия сел по ее приглашению в большое кресло у окна.

Молодая девушка поместилась напротив него на маленьком табурете и выговорила довольно смело:

– Что прикажете? Я надеюсь, отец мой, что вы мне принесли хорошую весть.

– Я никаких вестей не принес, дорогая будущая герцогиня. Я явился к вам по весьма простому богоугодному, но важному делу. Сегодня граф прислал письмо, в котором приказывает немедленно разыскать в Киле самых сведущих юристов, чтобы составить по форме очень серьезную бумагу, а именно – завещание в вашу пользу. Лучше сказать, не завещание, так как он, слава богу, здоров и умирать не собирается, а документ, по которому все его состояние, за очень малым исключением, переходит к вам. Вероятно, жених или его родители не пожелали входить ни в какие сношения, не пожелали даже отпустить сюда сына без того условия, чтобы вы уже были обладательницей большого состояния. Таким образом, одновременно с вашим обручением и объявлением о вашей помолвке будет вам передано графом все его состояние.

– Что же из этого? – равнодушно спросила Людовика. Вопрос о состоянии никогда не интересовал ее и не смущал. Выросши в этом замке, она имела все, а между тем никогда не имела ни одного червонца в руках, и, конечно, она смутно знала, какая разница между одним червонцем и сотней или тысячей их, не знала даже, что есть пределы этим червонцам. Ей всегда казалось, что между людьми из рук в руки гуляют червонцы, которые облегчают возможность приобрести каждому все, что он пожелает, и все люди меняются этими червонцами и берут

все, что хотят. Если есть люди на свете, у которых мало червонцев, то это простой народ. А у таких именитых людей, как ее отец или она, этим червонцам никогда не бывает конца.

– Существует, – начал отец Игнатий, – богоугодный обычай, что всякая богатая девушка, выходя замуж, жертвует что-нибудь на разные добрые дела. Вы знаете сами, что, по Священному Писанию, о добрых делах говорить не надо, не надо их делать явно, а напротив того – в великой тайне; надо, чтобы одна рука не знала, что дает другая. Вследствие этого по обычаю, существующему уже много лет, невеста тайно от родителей и только с ведома духовного отца жертвует то, что может, в пользу бедных ближайшей церкви и в пользу святого отца папы, чтобы посильной лептой увеличить дань святого Петра. Так как свадьба ваша – дело решенное и скоро вы будете невестой, а потом и женой известного немецкого принца, то я прошу вас теперь, в качестве духовного отца, сделать маленькое пожертвование, исполнить этот древний и святой обычай. Вот в чем заключается дело.

– С удовольствием! – воскликнула Людовика. – Я не знала про этот обычай, но с особенной радостью исполню его. Как отец приедет, я попрошу у него денег.

– Я уже сказал вам, что ваш батюшка не должен знать об этом. Если вы хотите строго держаться обычая, то это должно оставаться в тайне, чтобы кроме меня и вас никто не знал.

– Так как же тогда быть? – изумилась Людовика. – Вы знаете, что я получаю из конторы замка очень немного червонцев для моих прихотей и для раздачи ребятишкам, когда я езжу кататься. Других денег у меня нет.

– Я это отлично знаю. Но когда вы выйдете замуж, то вы будете сами располагать всеми деньгами и всем состоянием. И, вероятно, будете располагать более или менее независимо от вашего мужа.

– О, если вы тогда только пожелаете получить, то это другое дело.

– Нет, я именно желал бы иметь ваше пожертвование теперь, так как обычай требует, чтобы девушка невеста делала бы это приношение, а не замужняя женщина.

– Но... – изумилась и запнулась Людовика, как бы говоря, что она не понимает окончательно, чего хочет капеллан.

– Вы хотите сказать, как это сделать? Очень просто, – кротко и ласково улыбнулся иезуит. – Вы очень образованны, а между тем не знаете самых простых вещей.

Он отстегнул две пуговицы своего кафтана, достал большой сафьяновый красный бумажник, вынул оттуда большой, вчетверо сложенный лист, мелко исписанный, и попросил Людовика прочесть его. Она взяла лист, начала читать про себя, но казенный слог, какие-то странные неуклюжие выражения и затем несколько пустых мест среди листа, как бы по ошибке оставленных набело, привели к тому, что она ничего не поняла.

Отец Игнатий снова улыбнулся и, взяв бумагу, показывая пальцем на строчки, стал объяснять ей, что это форменная бумага и что стоит вставить имя и сумму приношения, чтобы эта бумага заменила деньги, так как по ней впоследствии она может выплатить то, что обещает.

– Но зачем же эта бумага? Я могу просто обещать.

– Это большая разница. По этой бумаге я могу завтра же получить деньги и передать ее в другие руки, и она пойдет из рук в руки, так же, как обращаются простые деньги. А затем когда-нибудь, будучи уже богатой владельницей и герцогиней, вы кому-нибудь уплатите эту сумму. Одним словом, дело только в пустяках. Вам нужно взять перо и подписать ваше имя.

– Извольте, с удовольствием, – выговорила молодая девушка.

Она взяла бумагу, подошла к своему столу и, усевшись, хотела уже подписать бумагу, но в ту же минуту от какого-то странного чувства она обернулась к стоявшему в нескольких шагах от нее иезуиту и взглянула в лицо его. Она вдруг смутилась, даже сердце дрогнуло в ней. Перед ней стоял совершенно другой человек. Она испугалась, как могла бы испугаться только привидения.

Отец Игнатий будто вырос на целую голову. Голова его была вытянута вперед по направлению к тому столу, где лежала бумага и рука Людовики с пером. Рот его улыбался, а глаза его впились в перо и эту бумагу. Глаза его сияли каким-то сатанинским блеском.

В одну секунду, когда головка молодой девушки обернулась к нему, духовный отец сразу переменялся и снова голова его поникла, веки опустились, а руки скрестились на груди.

Людовика продолжала смотреть на него, раскрыв рот от изумления. Ей казалось, что сейчас совершилось что-то сверхъестественное.

В комнате стоял сначала отец Игнатий, затем преобразился как бы в самого дьявола и мгновенно, будто сверкнув всем своим существом, исчез... и снова стал отцом Игнатием.

Умная, отчасти хитрая, молодая девушка тотчас смекнула, что есть во всем этом что-то особенное; это не простая вещь, как говорит этот человек.

И вдруг мгновенно в голове ее воскресла прошлая сцена между ними, история с флаконом и ее обморок.

Людовика сидела за столом, раздумывала, и вдруг самый простой вопрос пришел ей в голову.

– Скажите, отец мой, сколько я должна пожертвовать?

– О, это пустое, то, что вы пожелаете, сравнительно также с вашими средствами, – тихо, однозвучно и кротко выговорил иезуит. – Но это пустое, главное – написать ваше имя, а затем, что вы прикажете, то я напишу после, а равно день и число месяца, которые необходимы на документе. Это уж пустяк. Это делается в присутственном месте при юристах, а вам, конечно, невозможно ехать в город для этого. Вы поставите только ваше имя, а мне скажете ту сумму, которую я должен буду вписать впоследствии.

Молодая девушка снова положила руку на бумагу, и снова что-то будто сверхъестественное остановило ее.

– Стало быть, я не знаю, что я даю, – подумала она. – Он поставит ту сумму, какую захочет.

И Людовика в несколько мгновений вдруг сообразила всю эту штуку и западню.

– Как я глупа, – подумала она.

– Но я не совсем понимаю, мой отец, – начала она, несколько смущаясь. – Ведь тут вы можете поставить потом... Я не говорю, чтобы вы это сделали! Но это можно сделать, можно потом поставить такую сумму, которую я не в состоянии буду отдать.

– Стало быть, вы подозреваете меня, юная грешница, считаете способным на такое дело, за которое людей судят и сажают в тюрьму.

Наступило минутное неловкое молчание...

XVII

Иезуит подошел к ней ближе и стал своим однозвучным и тихим голосом говорить и объяснять что-то подробно.

Но Людовика, сидя над столом, на котором лежала бумага, с тем же пером в руках, которое слегка дрожало в ее пальцах, думала, как выйти из этого странного, томительного и даже пугающего ее положения.

И когда она через несколько мгновений пришла в себя, то услышала только конец длинной речи духовного отца. Он говорил и убеждал ее, что каких-нибудь несколько тысяч червонцев не будут разорительны для нее.

Глаза Людовики в эту минуту случайно упали на шкаф с книгами. Она увидела издали светло-желтый переплет одной из этих книг, где были новеллы одного итальянского писателя, и, по странной случайности, она вспомнила, что в этом томике есть одна новелла, в которой рассказывается какая-то денежная история, какой-то обман молодого человека, вследствие которого он потерял все свое состояние. Подробности этой новеллы она не помнила, но зато сообразила, что, прочтя ее, она будет гораздо более знать, понимать то, что предлагает ей теперь иезуит.

– Оставьте мне эту бумагу, отец мой, до завтрашнего утра. Я ее подпишу и передам вам.

– Это невозможно. Вы должны подписать ее сию же минуту! – уже другим голосом произнес иезуит.

Но он не ожидал того, что произведут эти три последние слова.

Людовика, самолюбивая и избалованная и отцом, и окружающей средой, вспыльчивая от природы, никогда не слыхала подобной фразы. Тон и звук голоса иезуита рассердили ее.

– А если так, то я не подпишу ее ни сегодня, ни завтра, а когда приедет батюшка, посоветуюсь с ним.

Людовика встала, сложила лист и вежливо подала его духовному отцу.

Не надо было много проницательности, чтобы заметить, что происходило в эту минуту с иезуитом. Он побледнел, рука, принявшая сложенный лист, слегка дрожала. Он хотел заговорить, язык его на секунду будто не мог повиноваться ему.

– Я вижу, что вы более умная, нежели я думал, – выговорил он таким голосом, которого еще никогда не слыхала Людовика. Ясно – это был тот голос, которым иезуит говорил вне замка или сам с собою, так как никогда не слыхала она подобного в его беседах с отцом или теткой.

– Еще раз, – начал он, – я вас попрошу поставить вашей рукой вот здесь...

Он развернул лист.

– Двести тысяч червонцев, а здесь ваше имя и больше ничего.

– Мне кажется, – произнесла Людовика, – что эта сумма очень велика.

– Да, но не для вас.

– Нет, мне кажется, – медленно произнесла молодая девушка, как бы рассчитывая мысленно и соображая. – Мне кажется, что это, должно быть, половина всего того, что может иметь мой отец.

– Если кажется очень много, поставьте немного меньше, – странно проговорил отец Игнатий.

– Я поставлю пятьдесят тысяч, – вымолвила Людовика.

Иезуит улыбнулся и выговорил:

– Это невозможно, это слишком мало. Впрочем, – вдруг спохватился он, – я согласен и на это. Садитесь и пишите.

Он развернул лист и, показав среди строк пустое место, вымолвил:

– Вот здесь... поставьте пятьдесят.

Людовика, не садясь, рассмеялась и, показав хорошеньким пальчиком несколько выше пальца иезуита, прибавила:

– А здесь потом кто-нибудь поставит сто или двести или триста. И она взглянула, весело смеясь, в лицо иезуита.

Как ни владел собою хитрец, а щеки его слегка зарумянились, и вдруг, бросив бумагу на стол, он сложил руки на груди, смерил с головы до ног огненным взглядом молодую девушку и выговорил:

– Вы не знаете, в какую игру вы играете, моя духовная дочь.

– Отчасти не знаю, но догадываюсь.

– Нет, вы меня не понимаете. Если сегодня вы не подпишете этой бумаги и не сделаете это приношение в церковь Божью, то...

Отец Игнатий тяжело дышал и будто боялся произнести.

– Что ж тогда?

– Все может перевернуться, перемениться, может случиться такое, чего я вам не могу сказать. Но все будет вами погублено, вы лишитесь всего. В последний раз я спрашиваю вас, хотите ли вы написать двести тысяч червонцев и подписать эту бумагу, но не ставить внизу числа?

– Этого я не могу, – несколько робея, произнесла Людовика, так как теперь, глядя в лицо иезуита, она окончательно поняла, с какого рода человеком приходится ей иметь дело и насколько важно само дело.

– Это ваше последнее слово? – вымолвил отец Игнатий.

– Последнее.

– Вы не подпишете?

– Не подпишу.

– Итак, считаю долгом предупредить вас, что когда я выйду из этой комнаты, то все будет кончено. Я клянусь вам Богом, клянусь вот этим распятием, – он взял в дрожащую руку золотой крест, который у него был на груди, поднес к губам своим и прибавил:

– Клянусь и целую этот крест, что если вы не согласитесь на мое предложение, то вы лишитесь всего – и жениха, и состояния, и блестящей будущности. Вы будете... как эта женщина.

И судорожно стискивая одной рукой крест, он другой указал ей в окошко.

Вдали, в стороне от парка, в поле виднелась на дороге женщина, которая, придерживая рукою подол своей юбки, гнала хворостиной пару волов, шлепая босиком по грязной дороге, где еще не совсем стаял снег.

– Вы будете такой, – таким голосом выговорил отец Игнатий, что у Людовики замерло сердце.

Слишком много уверенности было в его голосе. Это не была простая угроза. Людовика почувствовала, что этот хитрый и умный человек глубоко убежден в том, что он говорит. Голос этот был так странен, что Людовика, испугавшись, вместе с этим поверила словам иезуита. Она поверила, что подобное что-нибудь может быть... и будет непременно.

– Но что же мне делать! – воскликнула она, и слезы показались у нее на глазах.

– Подписать эту бумагу.

Наступило гробовое молчание.

Иезуит не спускал глаз с красивой девушки, она же, опустив глаза и скрестив руки, думала, колебалась, соображала и понимала ясно, что с ней он, а может быть, и тетка хотят сделать что-то ужасное.

Она вдруг упавшим голосом, едва слышно произнесла:

– Если я не подпишу, то я буду нищая, а если я подпишу, то я тоже буду нищая! Так не все ли равно?

– Ну так оставайтесь с вашим разумом и упрямством. Посмотрим, на что пригодится вам ваш ум и ваша твердость характера, когда другой человек, умнее вас, с большей силой ума и воли, станет бороться с вами. Я вижу, что вы, благодаря образованию, которое вам дано, менее ребенок, нежели я думал. Ну и прекрасно! Давай вам Бог в жизни завоевать этим разумом все блага земные, – насмешливо произнес он. – Я уйду, предупредив вас, что не оставлю моего намерения. Могу ли я теперь быть уверенным, что вы, по крайней мере, ни слова не скажете графу по его приезде?

– Не знаю, – нерешительно произнесла Людовика.

– Вы должны поклясться мне, что ни слова не скажете ему. Если вы передадите наш разговор, то он выгонит меня из дома, между тем вы сами скоро после свадьбы тоже уедете отсюда, какая же вам прибыль выгонять меня на улицу. Обещайте, по крайней мере, хотя бы молчание, – уже тихо, с покорной просьбой в голосе, произнес иезуит.

– Извольте, даю вам слово и не изменю ему. Я ни слова не скажу отцу.

Иезуит медленно кивнул головой и вышел ровным шагом из горницы. Но Людовика, прислушиваясь к его шагам, удалявшимся от ее комнаты, заметила, что чем более удалялись шаги иезуита, тем шел он быстрее, и наконец показалось ей, что он просто бежит.

Людовика задумалась и долго стояла неподвижно среди своей комнаты, вспоминая все, что сейчас произошло здесь.

Она пришла в себя только тогда, когда растворяющаяся дверь из другой комнаты заставила ее вздрогнуть.

Эмма вошла к ней, очевидно, хотела спросить что-то, но, увидя ее лицо, вскрикнула и бросилась к ней.

– Что с вами, моя ненаглядная? Вы бледны!

– Эмма, слышала ли ты все, что говорилось здесь?

– Всего не слыхала, а несколько слов слышала. Он о чем-то просил вас, о деньгах, о бумаге.

Людовика быстро рассказала своей любимице, прося ее сохранить все в тайне, и наконец спросила совета.

Эмма рассмеялась.

– Конечно, не надо было подписывать. Но каков же наш отец капеллан! Можно ли было ожидать от него подобного? Во всяком случае, говорить вам об этом графу не нужно.

– Я и не могу. Я дала слово, я поклялась. Но исполнит ли он свою угрозу, Эмма?

– Полноте, успокойтесь! Разве он – Господь Бог, разве он может из вас, самой богатой аристократки всей страны, сделать нищую?

Эмма весело рассмеялась.

XVIII

За отсутствием графа общего стола не было в замке. Старая графиня завтракала и обедала у себя в комнате со своим неизменным другом духовным отцом и своей приятельницей панной Величковской.

Поэтому Людовика волей-неволей точно так же проводила весь день в своей горнице. Изредка, не всякий день выходила она погулять в парк с кем-нибудь из своих прислужниц. Без приглашения явиться к тетке она не могла.

Вообще отношения между владельцами и лицами, их окружающими, были полуофициальные, натянутые. Весь образ жизни был подобен придворному распорядку маленьких германских владетельных принцев. Если какой-нибудь принц, состояние которого и владения не превышали стоимости пятидесяти тысяч червонцев и даже менее, считал долгом обставлять себя адъютантами, министром двора, церемониймейстером, то есть простыми дворовыми и дворецкими, носившими эти титулы, то точно так же всякий богатый аристократ, который зачастую бывал вдвое и впятеро богаче своего государя, заводил у себя тоже придворный строй жизни и затмевал своей обстановкой своего повелителя. Этот же вассал, конечно, часто помогал своему государю в денежных затруднениях.

Тот же строй, что и в Германии, был и в Польше. Были магнаты – их было даже довольно много, – состояние которых много превышало средства польского короля. Одному искателю польского трона было же сказано:

– Польским королем вы будете, да что в том проку. Сделайтесь лучше Сангушкой.

Польский магнат и богач, назвавшийся теперь графом Краковским, перенес обычай своей родины и на то пустынное взморье, где он выстроил свой замок.

Разнородные шляхтичи, поляки и литвины, а равно и разные мелкие дворяне немцы исполняли разные должности при графе, графине и их воспитаннице. И жизнь в этом замке отличалась от жизни других только тем, что владелец, старая графиня, равно как и юная красавица жили мирной жизнью, избегали всяких празднеств и увеселений, и все придворные, или, лучше сказать, дворня, сидели по своим углам.

Граф требовал спокойствия и тишины, всячески отстаивал свою независимость в обыденной жизни и этим самым давал право, молчаливое согласие на такую же независимость для каждого из своих подчиненных; и все они пользовались полной свободой.

Многие часто уезжали, другие жили почти вне замка, в столице герцогства, являясь по первому требованию только в те дни, когда бывали вечера, преимущественно музыкальные, и все население замка должно было быть налицо.

Тем не менее присутствие этих придворных и штатных служителей вносило в отношения юной Людовики не только с теткой, но даже с отцом что-то натянутое.

Если ей хотелось видеть отца и предложить прогулку или узнать и спросить что-нибудь, то она не могла идти сама, еще менее могла послать кого-либо из своих горничных, а должна была снестись со стариком паном Шваньским, который еще при покойном отце графа, а равно и теперь занимал в продолжение более тридцати лет должность главного распорядителя во всем замке, нечто вроде министра двора, или, попросту сказать, дворецкого.

Когда юная девушка теперь или прежде, будучи еще полуребенком, вдумывалась в свое загадочное однообразное существование, вдумывалась в свои странные натянутые отношения с отцом, который ее обожал, то она невольно находила только одну причину. Причиной было именно желание отца жить на лад владетельных принцев с двором, штатом. И Людовике казалось, что если бы они были менее богаты или, наконец, оставаясь богачами, жили бы проще, не обставляли бы себя целой кучей каких-то чиновников, то отношения ее не только к отцу, но и к тетке были бы нежнее.

Граф проводил день в своих апартаментах, читал, писал, занимался своими делами, занимался усиленно астрологией, которую очень любил, так как отчасти испорченная жизнь и сердечная драма привели к мистицизму; и эти мистические наклонности находили себе утешение в астрологии.

Это не мешало ему, однако, работая постоянно, привести свое состояние в блестящее положение. Со смерти отца он утроил это состояние, и хотя все считали его богачом, но никто не знал, что он еще вдвое богаче, нежели это известно.

Ежедневно являлись к нему различные дельцы; раза два в месяц приезжали различные управители различных имений, и все в доме знали, что он постоянно занят работой, постоянно ведет какое-то дело, и чуяли, что это дело налаживается все лучше.

А это дело было не что иное, как участие в разных торговых предприятиях и компаниях, которых в Киле было, конечно, немало.

Странным казалось, что все лица, бывающие у графа по его делам, будто умышленно подобраны. Из них не было ни одного болтливового, почти ни один из них не знакомился ни с кем в замке, приезжал, проводил день, а иногда оставался неделю, ночуя в особых апартаментах, совещался с графом и уезжал, не разболтав никому из придворных, в чем состоит его дело.

Между тем это простое молчаливое ведение своих дел, долгие занятия наедине в кабинете, редкие прогулки, редкие приемы и вечера и самая мысль выстроить замок на голом месте, невдалеке от моря, все это накладывало на личность графа какую-то таинственность, какой-то отпечаток мрачности. Никогда ни разу никто не слышал от него дурного слова, а между тем его не любили. За исключением молодой девушки, все относились к нему так же холодно, как он – ко всем.

Так шла жизнь из года в год.

Однако этой жизни приходил конец. Отсутствие, довольно продолжительное, графа было теперь понято всеми обитателями замка, все знали, в чем дело. Все давно ждали и наконец дождались выхода замуж той, для которой как будто все здесь жило, все здесь делалось. Все понимали, что как только юная красавица выйдет замуж, то не только жизнь в замке переменится, но, быть может, распадется сама собою. Граф, добровольно эмигрировавший из Польши, вероятно, возвратится снова, пристроив единственное дорогое ему существо, и будет жить на родине или там, где будет дочь, при дворе какого-нибудь принца-зятя. Все придворные поляки вернутся в Польшу, немцы, вероятно, отправятся в качестве приданого или свиты ко двору будущего мужа молодой барышни.

Быть может, замок этот, думалось обитателям, через какие-нибудь три-четыре месяца опустеет и будет куплен герцогством для какой-нибудь больницы, быть может, для порохового склада или казармы.

Жизнь, здесь основавшаяся, была зачата искусственно и насильственно. Здесь надо было вдали от всех воспитывать ребенка-приемыша или побочную дочь. Здесь надо было для нее составить громадное состояние, чтобы заставить – на ней, безродной сироте – жениться хотя бы даже великого герцога.

Таким образом, это важное событие, этот торжественный день, будущая помолвка и свадьба, во всяком другом замке заставили бы всех радоваться и веселиться, здесь же оно являлось таким крутым поворотом, таким неприятным событием, которое каждый из обитателей с удовольствием отвратил бы, если бы мог.

XIX

Людовика была настолько встревожена своей беседой с отцом Игнатием, что поневоле мысленно желала скорейшего возвращения своего отца из путешествия.

Она обдумала свою беседу с иезуитом, вспомнила все слова, которые были сказаны им, и все это казалось ей крайне загадочным и все пугало ее. Она уже раскаивалась глубоко, что дала слово ничего не говорить своему отцу.

Она не могла уяснить себе ясно, чего она боится. Отец Игнатий вымолвил только одну угрозу, да и то какую-то немислимую, невероятную. Как может он, капеллан дома, сделать ее нищей?

Эта угроза даже не идет к умному человеку. Но если, кроме этой угрозы, отец Игнатий не сказал ничего особенного, то она прочла в его глазах, в его лице что-то большее – какую-то угрозу, которую он побоялся произнести вслух.

И невольно Людовика ждала, что это свидание повлечет за собою другое; за этой беседой с капелланом непременно должна быть беседа с теткой. И она не ошиблась.

Спустя два дня ее пригласили пожаловать на половину старой графини.

Проходя длинную анфиладу комнат, Людовика невольно чувствовала, как дрожало в ней сердце.

Фигура тетки на своем обыкновенном месте с теми же очками на носу, с той же работой в руках не могла успокоить ее.

Казалось, тетка была все та же, приняла ее так же – вежливо и холодно, как всегда. Она и не ждала ласки, но в одном искоса брошенном на нее взгляде старой девы Людовика заметила какой-то отблеск того дикого огня, который горел в глазах иезуита при их объяснении. Ведь старая графиня была во всем эхом своего духовного отца, следовательно, гнев и неудача иезуита должны были отозваться и в ней.

– Сядь, моя милая, – произнесла графиня, – что подельываешь?

– Ничего, тетушка. Все думаю об отце, когда он вернется.

– Скоро, скоро. Тебе хочется узнать, что он готовит тебе. Это понятно в твои годы.

– Нет, тетушка, откровенно говоря, у меня не то на уме. Мне просто хочется его видеть, хотя бы он и не привез с собой никаких вестей.

– Ну, это пустое. Я знаю, ты преувеличиваешь свое чувство к отцу.

– Как! – невольно изумилась Людовика. – Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что ты не можешь его любить так, как обыкновенно дочери любят своих отцов, потому что он тебе, как ты знаешь, не родной отец.

Подобный разговор, подобные слова Людовика никогда не слыхала от тетки, и она была поражена в эту минуту, быть может, более, чем когда иезуит заставлял ее подписать какую-то неизвестную ей бумагу.

– Ты ведь знаешь хорошо, – продолжала графиня, – что он тебе не родной отец.

– Нет, тетушка, я этого не знаю.

Старая графиня, в свою очередь, перестала вертеть в руках кусок канвы, вскинула голову и с искренним, а не сыгранным изумлением посмотрела на девушку.

– Да, тетушка, я этого не знаю. Как с отцом, так и с вами я говорю искренно и поэтому скажу, что, несмотря на уверения отца, что я его приемлю, я твердо верю, я чувствую вот здесь, – она положила руки на сердце, – здесь мне все говорит, что он мне родной отец.

– Это девичьи причуды, фантазии, глупости, – произнесла ехидно графиня. – Впрочем, ты можешь воображать все что угодно, если тебе нравится или приятно. Я говорю не о ваших девичьих фантазиях, а о действительности, о фактах. Истина заключается в том, что он нашел тебя где-то во время своих странствований. Ты, хорошенький ребенок, ему понравилась, и он,

не имея детей, взял тебя на воспитание, а затем теперь хочет передать тебе все состояние и выдать тебя замуж за какого-нибудь знатного принца, пожалуй, даже и больше – за владетельного герцога. Это его фантазия, а так как он всегда с малости был большой чудак, то я не удивлюсь этому последнему чудачеству. Да, впрочем, это не мое дело, жалеть мне нечего. Состояние все принадлежит ему, он может жениться, иметь детей, передать им все после своей смерти или не жениться и передать все тебе. Во всяком случае, я не приобретаю, следовательно, я лицо вполне незаинтересованное. Да, впрочем, милая моя, не в этом дело. Я хотела переговорить с тобою вовсе не о таких серьезных вещах, а о пустяках. Но о пустяках, которые, однако, мне не нравятся. Я на тебя сердита.

– Объяснитесь, тетушка, я постараюсь загладить свою вину.

– Вот, видишь ли, я буду говорить о пустяках, которых я, однако, не знаю, то есть я буду говорить о том, чего я наверное не знаю. Но ты настолько искренна и правдива, что не станешь меня обманывать. Я знаю стороной, что на днях, кажется, с неделю назад, у тебя был в гостях наш духовный отец.

– Действительно был, тетушка, но не неделю назад, а тому два дня.

– Ну, видишь ли, мне так сказали. И затем он хотел просить тебя о какой-то мелочи, у него была к тебе какая-то просьба?

– Он хотел, тетушка...

– Не говори мне. Я не желаю знать, в чем дело. Не желаю знать потому, что он сам мне ничего не сказал. Если ты будешь объяснять мне, ты раскроешь то, что он желает держать в тайне. Не забудь, что он наш духовный отец. Следовательно, объяснений я не требую, я только хочу знать, была ли у него к тебе какая-нибудь просьба?

– Была, тетушка.

– И ты ее не исполнила?

– Нет, тетушка.

– Почему?

– Потому что исполнить ее невозможно.

– Этого не может быть. Отец Игнатий – не такой человек, чтобы обращаться с такого рода просьбами к молодым девушкам, которых невозможно исполнить. Я знаю, что его просьба пустячная, и ты этих пустяков не хотела для него сделать.

– Я не могла, тетушка.

– Пустое, моя милая. И вот за этим я тебя вызвала. Если ты меня любишь сколько-нибудь, то должна сделать удовольствие нашему капеллану, не капризничать и сделать то, что он просит.

– Но, тетушка, это немислимо, невозможно, и мне кажется, я даже не имею права этого сделать, не сказав ничего отцу.

– Напротив того, как я слышала, ты не должна ничего говорить отцу. Есть вещи, в которые родители не должны вмешиваться.

– Не знаю, но в данном случае... – начала Людовика и остановилась. – Если вы, – продолжала она после минутной паузы, – не хотите позволить мне рассказать, в чем дело, то я не могу и оправдаться. Вы советуете мне исполнить то, чего вы сами не знаете.

– Я не знаю, но верю и знаю, что наш духовный отец не может просить о какой-нибудь глупой вещи.

– Эта вещь не глупая, а очень важная, даже, пожалуй, опасная.

– Какой вздор! – воскликнула старая графиня, и в ее восклицании звучало какое-то раздражение, какого уже давно не замечала в ней Людовика.

Наступило молчание.

– Я не знаю, в чем дело, опять-таки повторяю, не имею никакого понятия о том, что просил отец Игнатий, но так скажу, наугад. Если бы кто-нибудь другой попросил тебя о том же, ты бы согласилась?

– Нет, тетушка, кто бы ни был, я не могу согласиться.

– Как! Если бы даже я попросила, ты бы и мне не сделала?

Людовика молчала в нерешительности.

– Ты бы и для меня не сделала?

– Если бы отец приказал, конечно, – отвечала она, хотя кротко, но отчасти лукаво.

– Но не впутывая отца, без его ведения?

– Не знаю, – нерешительно ответила Людовика.

– Так подумай, – вдруг выговорила тетка спокойно. – Подумай, моя милая. Пойди к себе и поразмысли, и так, что, если я завтра пришло за тобой, ты могла бы прямо ответить и согласиться на просьбу нашего духовного отца. Ведь эта просьба будет не моя; в чем дело, повторяю, я не знаю и знать не хочу. Я просто буду слепой исполнитель желания человека, которого привыкла любить и уважать, что прикажет он мне попросить тебя или заставить сделать, то я и предложу, совершенно не зная, в чем дело. Я должна уважать его желания. Итак, поди и подумай. Завтра ты мне дашь ответ.

Людовика вышла, вернулась к себе и задумчиво опустила на первый попавшийся табурет.

XX

Часа два или три просидела она, почти не двигаясь. Сумерки застали ее все в том же положении. Лицо ее было спокойно, дыхание ровно, взор рассеянно бродил по горнице, бессознательно останавливаясь на разных предметах, и только немножко сдвинутые брови говорили о внутренней тревоге. Только складка на лбу прибавилась к ее красивому личику.

Разные профессора и учителя, разные науки и книги, разные беседы с умными и учеными людьми, беседы задушевные с отцом, собственные долгие размышления – все это несколько лет воспитывало ее и развивало в одном известном направлении.

Результатом этого воспитания был совершенно спокойный взгляд на мир божий – все в нем хорошо, все в нем к лучшему. И это воспитание, и эта среда, и ее собственная жизнь как будто усыпляющим образом действовали на ее далеко не спокойную, а напротив, – пылкую и горячую натуру. Тот огонь, который был в ней, слабо мерцал и никогда не вспыхивал, потому что не было к этому повода. Ей, как царевне в сказке, не приходилось ни бояться, ни скучать, ни сердиться, ни жаловаться на что-либо. Жизнь ее текла ясным, светлым, как кристалл, и журчащим ручьем; и вот вдруг странный случай, в полной мере неожиданный, внезапно разбудил ее существо, прервал душевный мир и давнишнюю тишину ее помыслов. Природный огонек, который всегда тлел или мерцал в ней, вдруг вспыхнул ярче, запылал и, разгораясь в ней, будто осветил заревом окружающий мир, ее самоё, ее жизнь, ее отношения и к родным и к чужим. Несколько лет воспитывали ее, учили уму-разуму, но какому-то чуждому, ненужному здесь, на земле. А теперь две беседы с двумя лицами в одну минуту подействовали на нее так, как ни разу никогда не действовала ни одна книга и ни одна ученая беседа. Этот внутренний огонь ярко осветил все предметы, все лица, все мелочи кругом нее. Не только все увидела она, все поняла, как прежде не видела и не понимала, но даже вдруг заметила и поняла... и кого же?! Доселе незнакомое ей существо – себя самоё.

Да, на этот табурет в тревоге опустилась, робея, девочка, ребенок, усыпленный воспитанием и средой, а поднялась через несколько часов и стала тихо ходить по горнице зрелая девушка. Проснувшись и сознательно оглянувшись кругом себя, будто в первый раз, она столкнулась лицом к лицу не с бреднями и мечтами, а с действительностью. Теперь только поняла она, что такое отец Игнатий, теперь оправдала разумно свои прежние опасения, свои подозрения, свою ненависть к нему. Прежде они были бессознательны, теперь же свои чувства к этому человеку она могла объяснить отцу и всякому...

И теперь тоже узнала она и поняла, что такое старая графиня.

Через минуту она заходила тревожно по горнице, потом позвала к себе из соседних комнат Эмму и на вопрос ее: что прикажете? – отвечала взволнованным голосом:

– Эмма! Когда отец приедет?

И через минуту Людовика тихо плакала и на все увещания и расспросы Эммы отвечала:

– Ничего, так, просто грустно. Чего-то боюсь; если бы я могла, я сейчас бы поехала, нет, даже пешком пошла навстречу отцу.

Вечером Людовика созвала нескольких своих горничных, которые назывались фрейлинами, и ту же Эмму, у которой был титул вроде статс-дамы. Она заставила их петь, играть в разные игры: в фанты, карты и во все, что только можно было придумать, и не прошло часу, как она развеселилась и забыла и думать о тетке, о духовном отце, а главное – забыла свое душевное просветление или умственное пробуждение. Она как будто опять умственно уснула сном той же сказочной царевны.

На другое утро, когда Эмма по обыкновению явилась к ней с фарфоровым подноском, на котором стоял маленький сервиз с ее вензелем, и поставила кофе на обычном месте, Людовика почему-то сразу вспомнила о предстоящем свидании и беседе с теткой.

И вдруг то же пробуждение умственное явилось в ней, но на этот раз не удивило и не испугало ее. Она точно так же взглянула на саму себя как на постороннее лицо, обязанное теперь действовать разумно и твердо, и удивилась: как же это существо тревожится. Ведь в этом существе есть все то, что нужно не только для спора, но даже и для серьезной борьбы.

– Ведь ты сильна, ты не глупа, – говорила она этому существу, то есть себе самой.

И этот огонек засиял ярче, больше, и вспыхнул, и снова запылал. И как вчера, тетку, сидящую теперь на той половине большого замка, как будто осветил этот огонек. И как она показалась мала и ничтожна Людовике.

– Что она может против меня? Ничего. Что же мне?! Ее очков пугаться?

И Людовика, ни слова не говоря Эмме, не объясняя свою задумчивость и затем свою невольную улыбку, весело позавтракала и собралась идти к тетке по первому призыву.

И она наслаждалась мыслью, как удивит она старую деву, войдет уже не так, как вчера, и не та, что была вчера. Она войдет дочерью графа Краковского, будущей женой принца или герцога, будущей обладательницей такого состояния, о котором не только тетка, а многие германские государи не смеют и мечтать.

Покуда Людовика передумала и перечувствовала все это, стоя у окна и невольно закинув назад изящную и красивую головку, Эмма, глядевшая на нее, не зная ничего, невольно выговорила:

– Как вы, однако, красивы! Вот хоть бы в эту минуту, как вы красивы; вроде какой-то королевы!

В ту же минуту раздались шаги за дверями, вошла пожилая женщина с половины старой тетки и с ужимкой объяснила молодой девушке, что графиня-тетушка просит пожаловать к себе.

Людовика не успела сообразить, что она делает и зачем она это делает, вдруг сделала глубочайший реверанс прислуге своей тетки и вымолвила насмешливо:

– С особенным удовольствием! Так и скажите тетушке.

Женщина изумилась, широко раскрыла глаза, пораженная совершенно необычным фокусом молодой барышни, которая никогда так не шутила и позволяла себе шутки только со своими девушками.

Недоумевая, она вернулась на половину своей госпожи, но, однако, не посмела ей передать шутку племянницы.

Людовика чуть-чуть задумалась над самым пустым вопросом:

– Зачем я это сделала? – повторяла она сама себе. – Это пустяки, но зачем, почему я это сделала?

И вдруг ей показалось, что тот огонек, который всегда дремал в ней и который теперь стал изредка вспыхивать, играть, то падать и тлеть, то снова ярко разгораться... именно этот огонек в эту минуту вспыхнул в ней и заставил ее вдруг, как бы невольно, сделать неожиданную и неуместную шутку.

– И что это такое во мне! – подумала Людовика. – Это вроде того, как когда-то я не умела петь и вдруг в одну минуту начала уметь; или когда я не умела играть на арфе, руки не повиновались, и вдруг однажды утром пальцы стали другие и разыграли трудную пьесу и затем стали все играть. Так и на душе – вдруг что-то такое новое... Явилась новая способность думать и действовать не так, как прежде.

И Людовика сама себе вдруг показалась очень любопытной. Она никогда дотоле не занималась собою, в полном смысле слова как бы не замечала самоё себя.

Через несколько минут горделивая молодая девушка вошла к старухе тетке и заставила умную графиню, дальновидную и хитрую, поглядев на красавицу, обмануться вполне.

– Я вижу... Вижу, по лицу вижу, – выговаривала она ласково.

– Что, тетушка? – изумилась невольно Людовика.

– Вижу, что несешь мне добрую весть, и рада, что можешь сделать мне удовольствие.

И, к ужасу старой девы, эта племянница, которую еще так недавно она видела маленькой девочкой и которая так незаметно для нее выросла и преобразилась в высокую стройную красавицу, все так же улыбаясь весело и спокойно и, пожалуй, даже чуть-чуть насмешливо, ответила:

– Ах, нет, тетушка, вы ошиблись. Напротив, я додумалась до того, что дело, о котором вы говорите, совершенно невозможное. Надо быть совершенной дурой, чтобы сделать то, о чем говорит духовный отец.

И старая графиня опустила руки на колени и сидела как бы окаменев, не веря, вероятно, своим ушам и глазам.

Она быстрым движением отодвинула ленты чепца себе за уши, сняла очки и, освободив эти оба чувства: слух и зрение, выговорила не свойственным ей голосом:

– Что?

Людовика села около тетки и быстро, живо, весело, просто, непринужденно улыбаясь, почти смеясь, заговорила:

– Я, тетушка, удивляюсь, что отец Игнатий, духовное лицо, ваш и мой духовник, капеллан замка и так далее, человек со всеми его титулами и должностями, мог предложить мне такое бессмысленное дело. Если бы это был не отец Игнатий, то я бы подумала, что тут кроется какое-нибудь самое невероятное... Ну, как вам сказать, самый невероятный обман, про который я даже читала в одной итальянской новелле. Я прихожу к убеждению, что он шутил со мною. Я уверена, что он сам подтвердит и мне, и вам, что он шутил, так как, если бы это была не шутка, то мой долг все рассказать отцу.

Старая графиня шевельнула языком, но только какой-то странный, непередаваемый звук сорвался с ее раскрытых губ. Тут было все – и изумление, и злоба, и ненависть к говорившей, и угроза.

Людовика хотела заговорить снова, но услышала тихо сказанные слова:

– Молчи! Поди вон!

Молодая девушка невольно удивилась и не сразу могла подняться с места.

Поднявшись, она вопросительно взглянула на графиню и тут только заметила, что лицо ее зеленовато-бледно и губы дрожат.

Тетка хотела, очевидно, сказать те же три слова, но не могла от гнева, душившего ее. Зато глаза ее повторили приказание.

Людовика поклонилась, но уже не улыбалась, так как ей снова стало немного страшно. И затем она быстро вышла из комнаты тетки.

XXI

Несколько дней провела молодая девушка безвыходно в своей горнице.

Тетка, конечно, не присылала за ней, но Людовика только стороной узнала, что старая графиня очень не в духе, сидит у себя со своим духовным отцом и что они почти не расстаются.

Людовика не раскаивалась в своем объяснении со старой графиней. Вспоминая свою беседу с ней, она весело и насмешливо улыбалась, но изредка нападал на нее какой-то безотчетный страх. Ей казалось, что все это дело может иметь дурной исход.

Между тем она сама столько передумала, оставаясь одна по целым дням, что положительно пришла к убеждению в необходимости прямо и просто передать все отцу.

Она теперь в первый раз вдумалась в то обстоятельство, что отношения ее отца со старшей сестрой недостаточно нежны, как-то официальны. Ей казалось, что если отец со своей стороны относится к сестре с холодным уважением, то старая графиня и подавно не имеет к брату никакой привязанности.

Все передумала Людовика и взвесила и объяснила себе, вспомнила, что графиня была когда-то обделена покойным отцом, и все состояние, как майорат, перешло к ее отцу.

Чем более думала она о последних двух беседах с иезуитом и теткой, тем более чувствовала, что непременно тотчас же должна все рассказать отцу. Она не могла, во всяком случае, оказаться виноватой. Да, наконец, вскоре после этого признания она выйдет замуж, уедет отсюда и, вероятно, никогда не увидится со злой графиней, по крайней мере, со своей стороны она постарается избежать не только жизни вместе, но даже и редких свиданий.

Людовика считала всякий день, всякую минуту, ожидая приезда графа. Она почти не отходила от окна своей большой комнаты, служившей ей гостиной, а когда-то – классной комнатой, где занималась она со своими профессорами и учителями.

Одно из этих окон выходило на внутренний двор. Из него она могла видеть главные ворота замка и серую ленту шоссе, которое вилось по полю среди пашни и мелкого кустарника и, заворачивая вправо, исчезало за лесом. Это была единственная дорога, которая соединяла замок с большой почтовой дорогой.

Однажды утром, ранее обыкновенного часа, в который вставала Людовика, ее разбудил голос Эммы.

Женщина тормошила ее за руку. Она открыла глаза, увидела перед собою веселое лицо Эммы и услышала:

– Генрих приехал. Прискакал поутру. В сумерки или к вечеру будет граф.

Людовика вскочила с постели, обняла Эмму и расцеловала ее. Тотчас оделась она и упростила Эмму тайно, тихонько от всех позвать любимого курьера отца к себе.

Эмма затруднялась, что скажет графиня, если узнает.

– Ничего, я беру все на себя.

И Людовика весело объяснила Эмме, что времена переменялись, что она уже не хочет соблюдать разные мелочи и не боится нарушить церемониал их обыденной жизни.

– Ну, рассердится, если узнает, что ж из этого! – смеялась Людовика. – Ведь через месяц или два я буду замужем, меня уже здесь не будет, я сама буду хозяйкой.

Эмма сообразила, что действительно обстоятельства переменялись за последнее время, что молодая девушка может, не боясь, позволить себе некоторые капризы. А главное, Эмма понимала, что после свадьбы своей молодой барышни она, конечно, поедет за ней, покинет этот замок и старую графиню, следовательно, ей нечего бояться навлечь на себя теперь ее гнев.

Через полчаса явился красивый молодой мальчик с золотистыми волосами, добрыми синими глазами, который во всех путешествиях графа исполнял должность скорохода или передового курьера, готовил почтовых лошадей и расплачивался.

Генрих не мог сообщить молодой барышне ничего особенного, а о том, что он мог бы сказать ей интересного, конечно, он умолчал из боязни навлечь на себя гнев графа, который ненавидел болтунов.

Людовика узнала от скорохода, что отец здоров, очень весел, что таким веселым никогда еще никто не видал его, что он помолодел на десять лет. Какое было последнее местопребывание графа и откуда он двинулся прямо домой, Генрих, смущаясь, отказался объяснить. В этом и был весь секрет или сюрприз, который готовился молодой девушке.

Во всяком случае, Людовика догадалась, что ее будущая резиденция довольно далека от их замка, быть может, близ границы Франции, потому что Генрих проболтался только в одном. Он сказал, что в обратный путь граф приказал ехать с особенной быстротой, чтобы быть скорее дома, и что поэтому им пришлось делать по несколько миль или по триста верст в сутки. Да и то в одном городке граф настиг его и приехал в ту минуту, когда Генрих выезжал далее; а по обыкновению он заготавливал все и ехал впереди, по крайней мере, на десятичасовом расстоянии.

– Но верно ли приедет сегодня граф?

– Непременно, – ответил Генрих.

– Но ведь вы ни сегодня, ни вчера его не видали. Вы были все впереди?

– Я вам отвечаю за это головой. – И Генрих даже как-то удивился.

Он так хорошо знал и свою аккуратность, и точность всех действий графа, что ему даже странно казалось, как можно предполагать и сомневаться, что барин не будет в замке так, как он сказал, то есть в сумерки или вечером.

– Но ведь могло что-нибудь случиться? Могла сломаться карета, – возражала Людовика.

– Тогда граф пересядет в фургон и будет продолжать путь.

– Болезнь, – говорила Людовика, не зная, что придумать, и внутренне радуясь той уверенности, которая была на лице и в ответах скорохода.

– Болезнь менее чем когда-либо, – усмехнулся Генрих. – Граф чувствовал себя перед отъездом лучше, чем когда-либо. А если бы какое нездоровье могло случиться, то, конечно, это не помешает ему скакать домой. Повторяю вам, что мы никогда так не мчались, как в этот раз.

Дав скороходу два червонца, Людовика села у окна, из которого видна была дорога, и объявила, что она до вечера не отойдет от него ни на шаг. Вместе с этим она решила, не спуская глаз с дороги, на особенно смелый поступок, который шел вразрез с обычаем дома.

Она решила, что как только завидит издали экипаж отца, то сойдет вниз и встретит его на крыльце.

– Может быть, он и рассердится, – подумала она, – но затем, конечно, простит.

Действительно, отец ее почему-то любил строгий этикет. Отчасти его приучил к этому строй жизни в доме отца, отчасти он подражал другим богачам – как Германии, так и своего отечества.

Около полудня Эмма, которая постоянно приходила поглядеть, как барышня сидит у окошка, снова пришла, но на этот раз быстрее обыкновенного. Она с шумом затворила за собою дверь и почти подбежала к Людовике.

– Что такое? – невольно вырвалось у молодой девушки.

– Новость удивительная.

Людовика испугалась и, переменявшись в лице, поднялась со стула.

– Не пугайтесь, вам до этого нет никакого дела. Наш капеллан вдруг заболел.

– Как заболел?

– Так, поутру еще был здоров, как всегда, выходил гулять, а теперь уже снова разделся и лег в постель. Графиня из приличия не входила к нему, но все посылает каждую минуту узнавать об его здоровье. Он говорит, что его слуги не умеют ходить за ним. Графиня уж послала в

город за каким-то аббатом, который будет исправлять у него должность сиделки и ухаживать за ним.

Людовика задумалась.

Как ни просто было это известие, но оно почему-то показалось ей странным. Теперь только вспомнила она и сообразила, что отец Игнатий за семь или восемь лет жизни в замке никогда, положительно ни разу не был болен.

Если бы не случилось между ними ничего за последнее время, то Людовика отнеслась бы к этой болезни иначе. Теперь же она, будто настроенная на известный лад, все и всех разглядывала пытливо, разьясняла и подозревала. И теперь ей невольно пришлось сказать самой себе в ответ на свои мысли:

– Какой вздор у меня в голове. Ведь он такой же человек, как и все другие, может и заболеть.

Но, однако, ей все казалось, что такая внезапная болезнь иезуита после появления в замке Генриха есть не что иное, как хитрость и нежелание видаться с графом.

– Стало быть, он боится, что я все скажу отцу.

И Людовика, от природы добрая, вдруг смутилась! Говорить ли, поведать ли графу о странном предложении иезуита? С детства молодая девушка привыкла к этой черте своего характера – переходить от гнева к милости: еще утром она ненавидела хитрого капеллана и грозилась мысленно предать его в руки отца, теперь же ей стало жаль его, и она решила умолчать обо всем.

– Ведь отец его выгонит из замка. Бог с ним! – Размышления Людовики были прерваны докладом Эммы, что ее профессор музыки господин Майер, приехавший еще утром из Киля, желает ее видеть.

Людовика обрадовалась гостю и развлечению. Вдобавок, это был ее любимый профессор. Она его любила за доброту, простоту, наивность, а главное – за искреннее нежное чувство, которое она заметила в нем к себе самой. Майер, седой старик, тихий и скромный, действительно привязался к своей знатной и высокопоставленной ученице, как к родной дочери.

– Как я вас люблю, – часто повторял ей Майер прежде, когда давал ей уроки. – Я мою дочь меньше вас люблю. А знаете почему? Она бездарная, она деревянная. А вы – одаренная! Какое несчастье, что вы богаты и графиня Краковская, иначе бы замечательная музыкантша из вас вышла.

Людовика приняла старика, теперь очень редко ее посещавшего, с особою радостью.

Через полчаса дружеской беседы они уже сели играть, как бывало прежде: она на мандолине, он – на ее арфе.

Майер играл равно хорошо на всех инструментах.

– Вся в пыли, – кротко упрекнул он девушку, обтирая арфу своим платком. – Не грех ли? Стало быть, вам не до музыки? Буду просить графа опять взять меня в профессора, чтобы надоедать и заставить вас играть.

После часа музицирования Майер воскликнул восторженно:

– Ах, какое горе! Если бы вы были бедная девушка, какую бы я из вас сделал замечательную артистку!

Людовика весело расхохоталась от искренности восклицания своего старого друга.

XXII

Генрих не ошибался: точность и аккуратность графа снова подтвердились.

В ту минуту, когда солнце закатывалось и горизонт ярко пылал, как объятый пламенем, а сероватый замок, парк и вся окрестность до мелочей были позолочены потухающими лучами уходящего солнца, Людовика, сидя у окна, уже давно не спускавшая глаз с дороги и леса, вдруг вскочила, вскрикнула радостно и заметалась по комнате.

Из леса вылетела четверка лошадей с экипажем, за ним другой экипаж, большой, грузный, и наконец третий. Путешественники мчались быстро, во весь опор.

Людовика едва успела надеть шляпку, накинуть на плечи шаль и спуститься вниз, как уже за воротами хлопали бичи, гремели бубенчики и гудела земля.

Молодая девушка, не помня себя от радости, появилась на главном подъезде в ту минуту, когда экипаж графа гремел уже по двору и этот глухой топот и гул как бы врывающихся во двор коней заставил задрожать весь замок.

Вдобавок все, что было обитателей, поднялось на ноги и хлынуло со всех лестниц, из всех дверей навстречу своему владельцу.

Людовика ожидала выговор после разлуки за свой бесцеремонный поступок, противный этикету их жизни. Тем не менее она спустилась на несколько ступеней по большой гранитной лестнице. Если бы она смела, то бросилась бы к самым дверцам кареты.

Экипаж еще не успел остановиться, поворачивая круто у подъезда, как граф распахнул дверцу. Казалось, что было мгновение, когда он хотел выскочить, завидя дочь. Но затем он сдержал себя и тише, сановитее вышел из экипажа, поднялся по ступеням и принял дочь в свои объятия.

– Ты, верно, гулять собралась? – сказал он, извиняя ее поступок.

– Да, я только что собиралась, – солгала и она.

И владелец замка, подав руку дочери, медленно стал подниматься по большой парадной лестнице, встречаемый всеми домочадцами и равнодушно отвечая на их поклоны и приветствия.

На самом верху, на площадке, ожидала их старая графиня.

Краковский дружелюбно поздоровался с сестрой и спросил о здоровье.

Старая дева отвечала что-то, и Людовика, пристально смотревшая на нее, невольно заметила, что тетушке не по себе.

– Вероятно, беспокоится о болезни своего друга, – подумала она.

В первой же приемной граф снова поцеловал дочь и вымолвил:

– Теперь дайте мне прибраться с дороги, а через час прошу пожаловать ко мне. Да только не раньше, как через час, – шутливо погрозился он. – А то я вижу нетерпение, хочется поскорее все узнать. А есть что узнать, много новостей я привез.

И сопутствуемый служителями, граф прошел на свою половину.

Но прежде чем переодеться с дороги и отдохнуть, как хотел он, ему пришлось заняться делом.

На столе оказалась целая куча нераспечатанных конвертов и писем разной величины.

Он опытной рукой перерыл всю кучу, опытным глазом пересмотрел их и, отложив в сторону четыре пакета, тотчас прочел их. Одно из них заставило его поморщиться.

Граф Краковский был высокого роста, крепкого сложения, но стройный, изящный и элегантный. Во всех движениях, голосе, даже походке в нем сразу поражала родовитость, вследствие наследственной благовоспитанности за несколько поколений.

Он был прямой потомок одного из тех польских родов, из которых бывали некоторые члены и на польском престоле. Все же его предки играли видную роль в истории отечества, и

недаром счел он нужным скрыть свое имя, поселившись на пустынном берегу моря, в окрестностях столицы чужой страны.

Когда родовитый, вполне и издавна цивилизованный славянин, то есть поляк, чех, соединяет в себе красоту и изящность, то из всех национальностей – пальма первенства принадлежит ему.

Аристократ-англичанин, лорд-миллионер слишком важен, чтобы быть изящным, а его родной, но птичий язык поневоле заставляет его не разжимать зубов, и звук его речи слишком мало музыкален. Аристократ-француз слишком скор и жив, слишком быстро думает и чувствует, и его изящество расходуется на мелочи. Аристократ-итальянец, а равно и испанец, хотя бы и считали свою родовитость за десять веков, не обладают и тенью изящества; или же они изящны на особый лад, так же как и первый попавшийся испанский махо или итальянский ладзарони. Вообще оба внешностью никогда ничем не отличаются от простого народа. Аристократ-немец сам по себе как бы не существует. Он кого-то представляет, и неудачно; и, вдобавок, из рода в род, от отца к сыну, от миллионов выкуренных дедами сигар и выпитых дедами кружек пива он, как верный истинный сын отечества, как патриот, должен хрипеть, говоря на родном языке.

Итак, пальма первенства принадлежит славянину, но вполне цивилизованному, тому славянину, который издавна стал на рубеж Европы. За ним развернулась страна – велика и обильна, не Азия, но и не Европа. Если в этой стране и есть юная годами аристократия, то она мало отличается от простого народа изящною внешностью и больше чистыми руками, а то и просто – позументом на кафтане.

При всех дворах и придворных торжествах, где случалось графу Краковскому бывать, он всегда обращал на себя всеобщее внимание изяществом всей фигуры.

Через час Краковский уже переменял костюм, успел выпить поданный кофе и прочесть несколько писем, когда лакей доложил о молодой барышне.

Краковский быстро поднялся, встретил дочь на пороге кабинета, несколько раз поцеловал ее и затем увлек за собою, посадил против себя на диван и, держа ее руки в своих руках, нагибаясь вперед, пристально рассматривал ее лицо, как будто никогда не видал.

– Да, странное сходство, непостижимое сходство, в особенности за последний год! – думал он про себя, но ничего не сказал дочери.

– Ну, теперь давай говорить о том, до чего наконец благодаря милости Божией мы дожили. То, о чем я мечтал здесь, в этой комнате, в продолжение стольких лет, наконец сбывается. Через несколько времени я выдаю тебя замуж и передаю тебе тотчас половину моего состояния, а другую половину, вероятно, еще при жизни постепенно передам тоже. Состояние это очень велико. Я думаю, французский дофин, если бы мог, то не отказался бы жениться на тебе. И тут не было бы ничего удивительного. Теперешняя королева Франции польского рода, а предки Лещинского не родовитее моих предков. Впрочем, ты до сих пор не знаешь моего настоящего имени. Да ты еще многого не знаешь. Все это ты должна узнать накануне твоей свадьбы. Я скажу и докажу тебе многое, что считал нужным скрывать до сих пор. Я даже скажу тебе, кто твоя мать и где она похоронена. Ты можешь съездить поклониться ее могиле. Звали ее, конечно, тем же именем, которым я стал звать тебя. Но скажи мне, помнишь ли ты...

Краковский остановился на мгновение и снова выговорил:

– Я никогда тебя не спрашивал об этом – я избегал всех разговоров, касавшихся твоей личности, – помнишь ли ты свое настоящее имя, то есть данное тебе при крещении?

Молодая девушка зарумянилась. Видно было, что граф коснулся большого места на сердце.

– Да, – смущаясь, отвечала она. – Мне кажется, мне помнятся высокие горы, домик, старушка...

– А имя твое?

– Нет, не помню. Я знаю хорошо, что имя, которым ты зовешь меня, я впервые услышала от тебя.

– Ну хорошо. Все это ты узнаешь после. Теперь я только скажу тебе, что ты выходишь замуж за сына и наследника престола хотя небольшого герцогства, но играющего видную роль в международных сношениях. Это герцогство на западе от нас, ближе к Франции. При помощи твоего состояния, которое я тебе дам, твой будущий муж, вступив на престол, может расширить свои владения. Но тебе, глупый ребенок, не это важно. Какое тебе дело – велико или мало герцогство, тебе бы хотелось знать: сколько лет твоему жениху, каков он собою – красив ли, как сказочный принц, или дурен, как сказочный бес, не так ли? Успокойся – на это есть доказательство.

Граф встал, подошел к столу, взял с него небольшой футляр, вынул оттуда акварельный портрет замечательной работы и передал дочери.

– Какого ты мнения об этой личности? – смеясь, произнес он.

Молодая девушка пристально, как знаток, как художник, обладающий талантом рисовать сам, рассмотрела портрет.

Это был портрет красивого белокурого и голубоглазого молодого человека.

– Кто же это? – спросила Людовика.

– Разумеется, он, твой будущий муж.

Людовика вспыхнула, и яркая краска разлилась по всему ее лицу. Она опустила руку с портретом на колени и чуть не выронила его.

– Не смущайся, портрет этот принадлежит тебе. Возьми его с собою и до приезда жениха можешь проводить время, любуясь на его изображение. А приедет он не ранее как через месяц, и тогда будет ваша помолвка, подпишутся обеими сторонами все условия вашего брака, и затем вы должны ехать к нему, так как он в качестве владетельного принца должен венчаться в своей столице на глазах своего народа. На свадьбе своей ты пожалуешь меня в обер-гофмаршалы твоего двора и даже возложишь на меня орденские знаки, которые передаст тебе герцог. Таким образом, ты сразу станешь выше меня, ты будешь наследницей престола, а я останусь тем же польским магнатом, каким был и прежде; затем я уеду от тебя ненадолго и прямо на милую родину. Здесь будет запустение, здесь разве останется сестра. Этот монастырь ей годится на всю жизнь, а тебе и мне, обоим нам, надо еще жить. Ну что же ты молчишь? Скажи мне, довольна ли ты, надеешься ли ты быть счастливой?

Молодая девушка не отвечала ни слова и бросилась на шею к отцу, хотела поцеловать его, но рыдания помешали ей, и она припала лицом к нему на грудь.

– Да, это моя мечта, – выговорил граф, – давнишняя мечта, и теперь все сбывается, так как я давно обдумал и неустанно, неутомимо и упрямо вел к осуществлению. Теперь даже странно; теперь я даже как-то боюсь, становится страшно.

– Да, да, – вдруг воскликнула Людовика. – Я тоже боюсь!

– Чего же ты боишься?

– Не знаю.

– Бояться нечего, моя милая. Это просто человеческая черта, когда есть что потерять дорогое и человек знает, что он не может потерять это, то он начинает бояться той силы, которая может это отнять, а именно – сверхъестественной силы. Но таких сил, слава богу, на свете нет. Есть воля Божья, а она против нас, против тебя не будет. Провидение, так же как я, у тебя было в долгу и теперь должно отплатить тебе сторицей. Ну, иди к себе. Я займусь вот этими письмами. Через несколько дней будут здесь самые дельные юристы из города, и мы обсудим в подробностях тот документ, те бумаги и акты, по которым я передам тебе большое состояние; да, большое, очень большое! – с какой-то гордостью выговорил Краковский. – Оно было порядочное, когда я получил его от отца, теперь же моим знанием, моею настойчивостью, почти упрямством я вот в этой самой комнате, вот за этим самым столом сделал его громадным, Я

счастлив, что все это будет твое. Ты знаешь ли, – живо и с блеском в глазах заговорил граф, взяв дочь за обе руки, – ты знаешь ли, что у тебя есть или будут на днях корабли, тебе принадлежащие, которые плавают теперь у берегов не только Европы, но Африки, Ост-Индии, Америки. Ну да я боюсь, что у тебя закружится голова от всего, что ты узнала. Теперь всякий день приходи ко мне по вечерам, мы будем беседовать о тебе, о твоём близком будущем. Днём я буду возиться с разными законниками и с разными уложениями и кодексами, а вечером буду отдыхать с тобою. До свидания, до завтра. Теперь мне надо проведать нашего больного отца Игнатия. Станный человек, был вечно здоров и нашёл когда заболеть. Пожалуй, ему не придётся быть на твоей свадьбе.

– Разве он опасно болен? – выговорила Людовика каким-то странным голосом, в котором была тревога.

Граф понял этот оттенок голоса по-своему.

Капеллан уже жил столько лет в замке, что немудрено, если все, и Людовика в том числе, любили его, тревожились о нём.

– Да, у него плохая болезнь. Он может лишиться ног. Он уже теперь не может подняться и пройти по комнате. Да вот я его проведу, узнаю все.

Граф довёл дочь до второй комнаты и передал двум служителям, которые со свечами проводили её по коридору.

XXIII

Вернувшись к себе, Краковский быстро пересмотрел несколько бумаг на столе, выбрал одну из них, положил в карман и пошел в противоположную сторону от той, куда ушла дочь. На той половине жила сестра, а в самом углу здания помещались три горницы духовного отца.

Граф послал предварить о себе капеллана. Служитель побежал и успел доложить.

Граф нашел отца Игнатия с мало изменившимся лицом. Он ему показался на вид даже здоровее, чем был при его отъезде.

Отец Игнатий лежал в постели полусидя, прислонясь к нескольким подушкам. Около него, у самой кровати, сидела какая-то фигура, которую граф не мог рассмотреть сразу вследствие того, что на свечах, стоявших на углу, был опущен большой абажур.

– Что с вами, отец мой? Как это вы ухитрились заболеть? Я думал, что мы оба не способны болеть.

– Вот, как видите, граф, кажется, сразу заболел так, что и не встану.

– Что ж у вас?

– Нечто вроде подагры: не могу ступить на ноги.

Постепенно привыкнув к полутемноте горницы, граф рассмотрел фигуру, сидящую около кровати капеллана, и невольно слегка наморщил брови. Лицо сидевшего страшно не понравилось ему.

Лицо это некрасивое отличалось каким-то особенным скотским выражением. Маленькие щелки вместо глаз, большой рот с толстыми губами и большой нос. В особенности бросились в глаза графу громадные мускулистые руки, почти лапы.

– Подумаешь, что этот человек всю свою жизнь ворочал молотом в кузнице.

Отец Игнатий заметил взгляд графа и поспешил выговорить:

– Это мой старый знакомый, которого я выписал из города посидеть около меня. Моя прислуга все отлучалась и оставляла меня одного без всякой помощи. Если вы никогда не видели господина аббата, то это вследствие той причины, что он всегда жил в Данциге и только недавно перебрался на жительство в Киль. Простите, граф, что я без вашего позволения пригласил его в замок. Это было самоуправством больного человека.

– Конечно, конечно, – выговорил граф.

Но он снова невольно смерил с головы до ног эту фигуру, которая произвела на него самое отвратительное впечатление.

Сказав несколько слов отцу Игнатию, пожелав ему скоро поправиться, граф отправился к сестре.

Целый вечер он просидел у сестры и сообщил ей с большими подробностями, как наконец удалось ему устроить судьбу своей дочери.

Он был слишком счастлив, был даже в каком-то восторженном настроении духа и поэтому не сразу заметил странную перемену в сестре. Раза два, однако, он спросил у нее:

– Да тебе, кажется, нездоровится?

Старая графиня отвечала, что она действительно чувствует себя дурно и приписывает это беспокойству по поводу болезни своего духовного отца.

Граф не только поверил, но если бы даже сестра и не объяснила таким образом своего странного расположения духа, то и тогда он сам бы пришел к тому же заключению. Он знал, что тесная дружба связывает старую графиню с ее духовным отцом. Это был для нее единственный близкий, дорогой человек. Граф знал, что она любит отца Игнатия, конечно, во сто раз более, чем его самого.

У таких старых дев, как графиня, чувство дружбы и уважения, с примесью чего-то иного, вроде любви, было явлением самым обыкновенным этого времени.

По какой-то странной случайности все капелланы всех больших замков были всегда близкие друзья женщин, вообще обитающих в замке, и старых дев – в особенности. Под видом постоянных душевных бесед о Боге и спасении души часто подобные друзья беседовали о совершенно иных вопросах, более чем мирских. В высшем обществе во всех странах Европы вращались и были непременно членами общества молодые и старые аббаты, на которых даже не смотрели как на духовных лиц; и немало было аббатов, у которых в одном кармане был всегда маленький молитвенник, а в другом кармане – новеллы Боккаччо.

На дружбу капеллана замка с сестрой граф смотрел снисходительно, так как сестра была чересчур пожилая женщина, а отец Игнатий несколько лет держал себя с таким достоинством и с таким умением, что и тени какого-либо подозрения не могло пасть на него.

Беседу свою с сестрою граф кончил вопросом: как пожелает она устроить свою личную жизнь после замужества дочери? Он намеревался вернуться в добровольно покинутое им отечество и жить половину года в Польше, а другую – при дворе будущей владетельной принцессы-дочери.

Старая графиня пожала плечами и отвечала, что она об этом не думала. Что ехать ей, конечно, с племянницей не хотелось бы, что она слишком привыкла к скромной жизни и обстановке и ей было бы тяжело очутиться при многочисленном дворе со всеми стеснениями придворной светской жизни. Старая графиня кончила свои размышления вслух намеком, которого именно ожидал граф и которому даже обрадовался. Он именно так и предполагал устроить сестру.

Графиня намекнула, что она очень привыкла к этому замку. Краковский тотчас предложил ей оставаться здесь полной хозяйкой и получить его в подарок со всеми окружающими землями. Вместе с этим он брал на себя содержание всего замка, всей прислуги, всего штата, так, чтобы никакие хлопоты не тревожили сестру и чтобы все по его отъезде оставалось здесь по-старому.

Графиня согласилась и поблагодарила.

Когда Краковский вышел от сестры, графиня поднялась со своего места, проводила его до дверей, потом вернулась и стала ходить из угла в угол по своей горнице.

Она, видимо, волновалась, будто боролась с каким-то тайным вопросом, будто решалась на что-то, будто спрашивала себя:

– Да или нет? Надо или не надо?

Наконец она села и выговорила вслух:

– Увидим, как он решит. Его слово – друга и духовника – мне приказ. Я скажу, выражу мое мнение, но затем все-таки – как он прикажет, так и поступлю.

Некрасивые и злые глаза старой девы бродили по всей горнице, по стенам и вещам, отчасти бессознательно. Но затем взгляд ее нечаянно упал на угол горницы, где висело большое распятие.

В этом углу она обыкновенно читала свою утреннюю и вечернюю молитвы холодно, официально, бездушно, так же, как другой умывается или причесывается.

На этот раз бурный поток мыслей, который шумел в ее голове, шумел во всем ее существо, заставил ее пристально, иным взором, взглянуть на это распятие. И в ней вдруг сказалось необъяснимое и отвратительное движение сердца. Она вдруг встала со своего места, вытянулась, закинула голову назад и, глядя на распятие – на этот символ веры и спасения, – она со страстностью, далеко не старческой, выговорила, злобно усмехаясь:

– Да, немного я от тебя видела! Немного ты дал мне на земле. Когда-то я молила, просила, верила, ждала, и что же? Прожила более чем столетия посмешищем людей, отрезанным ломтем!

Графиня закрыла лицо руками и злобно замотала головой.

– Ничем прошлого не вернуть! Ничем! Ничем! – прошептала она со злобным отчаянием.

XXIV

С первых же дней возвращения графа замок оживился, главным образом от того известия, которое привез с собою граф.

Радостная перемена, которая должна была совершиться в семье графа Краковского, теперь вследствие нескольких слов, им сказанных всем придворным, успокоила всех.

Граф дал на выбор всякому: ехать ко двору будущей герцогини в ее свите, или оставаться со старою графинею по-прежнему в этом замке, или же ехать с ним на житье на родину.

Конечно, все обитатели замка тотчас же нашли подходящее и приятное для себя и разделились при этом по национальности.

Все немцы пожелали быть зачислены в свиту будущей владетельной герцогини, все полудатчане, голштинцы, шлезвигцы, саксонцы пожелали остаться у графини в тех же должностях. О поляках и литвинах нечего и говорить. На их половине замка, где они жили, конечно, довольно дружно с первых же дней началось ликование по поводу возвращения вместе с графом в отечество.

Не прошло двух дней, как уже замок разделился на три лагеря. Всякий радовался своему будущему и посмеивался над другим. Всякий превозносил того, за кем должен был следовать, и надо сказать, что немцы и поляки равно нападали и подымали на смех тех, которые пожелали остаться в будущем монастыре, где – говорили они – будет настоятелем и ректором отец Игнатий и где, вероятно, вскоре заведется совершенно монашеский образ жизни на хлебе и на воде, с денной и ночной молитвой при пустом желудке. Но все эти ликования, шутки, остроты, ссоры и даже одна драка не доходили, конечно, до владельца замка.

Не прошло трех дней с приезда графа, как снова стали появляться различные его управители, поверенные и ходатаи по делам. Все они на этот раз не уезжали тотчас обратно, а оставались в замке несколько дней. Их набралось человек до пятнадцати различного сорта, даже различных национальностей, так что между ними был даже один еврей из Гамбурга, почти что самый главный и важный поверенный графа.

Все они ежедневно собирались в большой горнице, прилегавшей к кабинету, и здесь происходили правильные совещания, целью которых была немедленная быстрая реализация состояния Краковского, дабы различные фонды в виде бумаг и золота могли быть просто переданы из рук в руки будущему зятю.

И тут только эти поверенные перезнакомились между собою и теперь только узнали, какими громадными суммами в разных концах Европы и даже далее располагает граф Краковский. До тех пор каждый из них считал себя почти единственным поверенным и суммы, проходившие через его руки, считал единственными суммами, получаемыми графом.

На одном из этих совещаний один, самый юный из поверенных, не выдержал и, когда все поднялись со своих мест, чтобы расходиться, невольно обратился к Краковскому со словами:

– Однако, пане Грабя, какое у вас страшное состояние. У курфюрста саксонского, конечно, такого нет и быть не может.

Когда на этих совещаниях были решены разные вопросы, граф отпустил всякого из поверенных восвояси с приказом быть снова в замке через месяц с отчетом об успешном окончании своего дела.

Таким образом, все эти люди разъехались с тем, чтобы через месяц явиться каждому с крупной суммой, вырученной из разных банкирских домов и торговых предприятий.

Вскоре после того замок увидел в стенах своих совершенно иных гостей. Не только из Киля и Берлина, даже из Бонна съехались различные люди, почти все на подбор преклонных лет, был один и старик. На всех этих людях лежала печать чего-то древнего, архивного, затх-

лого, будто их вырыли откуда-то и, выпустив на свет божий, направили в замок графа Краковского.

Эти съехавшиеся гости, человек с десять, особенно занимали и забавляли обитателей замка.

Все они разместились в разных горницах, всегда служивших гостям. Но, действительно, эти гости мало походили на прежних, и каждый из служителей за людским общим обедом считал долгом рассказать какой-нибудь смешной анекдот о привычках или туалете того гостя, к которому был приставлен в услужение.

Про одного рассказывали, что он носит на груди на веревочке какую-то толстую книгу; про другого, что у него на спине черная мышь нарисована, какое-то родимое пятно; про третьего, что он под своими панталонами носит еще другие на заячьем меху и что у него десять пар очков: денные, вечерние, будничные, праздничные, особые очки для торжественных случаев, особые – для минут печалей и для минут радостей. Наконец, про одного из них рассказывалось между людьми, что он, ложась спать, раскладывает себя по столам и по креслам и что в постель попадает от него самая маленькая частица, все остальное фальшивое: и зубы, и парик, и плечи, бедра, икры, даже целая деревянная нога. Если он умрет здесь, говорили шутники, то совсем нечего будет и хоронить, разберем его всего каждый себе на память.

Эти гости, насчет которых так потешались в замке, были юристы, законники и буквоеды, некоторые даже уже составившие себе известность в своем отечестве.

Всех их пригласил граф для составления брачного договора и акта передачи при жизни всего майората и всех нажитых им сумм в приданое дочери.

Дело это было мудреное, хлопотливое и совершенно противное духу закона, потому-то граф и занялся этим особенно внимательно и осторожно.

Бумаги красавицы дочери, бывшие у него, были, конечно, все подложные, все ценой больших сумм сочинены, и теперь надо было или придать им законную силу, или совершенно бросить и выхлопотать другие.

Был только один акт, имевший законную силу, выписка из метрических книг маленькой церкви маленького городка далекой от этого замка страны. Этот акт был законный, действительный, в котором была записана девочка, родившаяся у приезжей неизвестной иностранки, умершей через несколько часов по ее рождении, и отданная на воспитание и попечение старушке одной соседней деревни. Бумаги матери ее были уничтожены... Но именно этот единственный законный акт скрыл Краковский в своем письменном столе и не желал им пользоваться.

Но если мудрено было ему теперь вдруг реализовать все свое состояние, вынуть из оборотов большие суммы, свести счета по таким делам, которые не были еще окончены и которые зависели от успешного плавания кораблей у дальних берегов дальних частей света, то это было сравнительно еще легко. Тут можно было чем-нибудь пожертвовать. Но составить акт и передать майорат и состояние безродному приемышу, исполнить и обставить законно и крепко свой каприз, идущий вразрез с буквой закона, – было гораздо мудренее.

На первом же совещании вызванных им юрисконсультов граф Краковский заявил откровенно, в чем дело, объяснил все и попросил вывернуть хоть целый свет наизнанку, перевернуть все вверх дном. Перерыть все узаконения, какие только есть в Германии и Польше, совершить хотя бы целое преступление, но обставить этот акт так, чтобы он был неприступен, как крепость, кому-либо из многочисленных дальних родственников его, которые неминуемо в случае его смерти, а может быть, и ранее, захотят тягаться с ним или его воспитанницей.

Неделю целую ежедневно работали, совещались юристы за большим столом, накрытым сукном, и наконец кончили проектом, обсужденным и написанным сообща.

Чтобы передать все свое состояние приемной дочери, графу приходилось пройти через разного рода скучные, длинные формальности вымышленных продаж и покупок, подставных

покупателей и всякого рода операций бессмысленных, но имеющих громадную законную силу. Все это надо было успеть сделать в месяц. Двое из поверенных – один из Киля, другой из Берлина – взялись быть ходатаями и устроить все за это время, совещаясь с управителями и юристами.

Граф каждый вечер часа по два проводил у себя с дочерью и передавал ей содержание утренних переговоров, требуя внимания, так как теперь ей следовало привыкать к делам.

Но эти частые беседы с отцом мало интересовали Людовику. Она знала, что ее отец устроит все отлично, и знала, с другой стороны, что точно так же предоставит все дела своему будущему мужу и не будет вмешиваться ни во что.

Ее гораздо более волновало и тревожило все, касавшееся местности, города, двора и, наконец, более всего все, касавшееся личности жениха.

И постепенно она узнала, что он ей ровесник, что он очень похож на портрет и, следовательно, очень красив, при этом очень тихий, скромный и добрый человек, обожаемый в своей стране, и что его подданные верят, что с вступлением его на престол начнется для герцогства золотой век.

Наконец однажды граф сказал дочери о своем маленьком беспокойстве о том, что нет очень важного письма от герцога-отца.

Увидя страшную тревогу на лице Людовики, граф тотчас успокоил ее и объяснил, в чем дело.

– Герцог, вследствие разных семейных и деловых отношений с французским двором, должен непременно, хотя бы из вежливости, просить согласия у французского короля на брак своего сына с тобою. Но в согласии его не может быть никакого сомнения. Не забудь, что Людовик XV сам женат на Марии Лещинской, то есть на польке, следовательно, не ему отказывать соседу герцогу передать со временем престол сыну, женатому на польке. Вдобавок, – рассмеялся граф, – перед отъездом я передал герцогу нечто, что он должен послать от моего имени в подарок всемогущему во Франции герцогу Шуазелю и нечто в подарок настоящему французскому владыке, госпоже Помпадур. От этой женщины зависит все теперь не только во Франции, но даже, пожалуй, в Европе. Не тебе, молодой девушке, узнавать от меня, какого рода эта женщина. Такие вещи не должны достигать твоего девичьего слуха. Но когда ты будешь замужем, то узнаешь, что это за женщина, а быть может, тебе придется всячески склонить ее на свою сторону, то есть на сторону и пользу твоего государства, трона которого ты будешь наследницей.

За это время, с самого приезда отца, Людовика чувствовала себя как в чад. Все, что она слышала от отца, все, что передумала, совершенно смутило ее душу, спутало ее мысли.

Она проводила целые дни в грезах и мечтах и рисовала свою будущность в таких красках, таких образах, что все это будущее казалось ей действительно настоящей сказкой, волшебной и сверхъестественной.

После этой затворнической жизни в замке быть наследницей престола, хотя бы и маленького государства, женой красавца герцога и обладать огромным, ей лично принадлежащим состоянием, и если прибавить к этому ее образование, ее дарование, наконец, ее замечательную красоту, в которой она, конечно, не могла сомневаться, да разве все это не сказка! Разве теперь в Европе много таких личностей, у которых и красота, и дары природы, и могущество, власть, знатность, состояние, то есть все, все и все... что только может сочетаться не в действительной жизни, а в волшебной сказке!

После своих грез и мечтаний Людовика вдруг опускала голову на грудь, глубоко задумавшись, становилась печальна. Тревога закрадывалась в сердце и начинала путать и перемешивать эти светлые грезы и светлые образы, начинала все это перетасовывать на свой лад и производить в душе ее полную смуту.

– Может ли быть нечто подобное, – говорила она сама себе или в ответ на эту тревогу, которая змеей заползала ей в душу. – Может ли случиться несчастье? Да, такое бывает, про такое даже в сказках рассказывается. Ведь в сказках на брачный пир или при рождении на свет малютки и на похороны являются злые духи, являются с девятью добрыми феями – десятая злая фея. Зло в сказке, так же как и в жизни, если не торжествует над добром вполне, то все-таки кладет тень зла на добрые дела добрых фей.

Нетерпеливо ждала Людовика когда-то приезда отца, а теперь еще нетерпеливее, даже сгорая от нетерпения, ждала она окончания всех дел и приезда жениха. Если б подобного рода состояние, умственное и душевное, продолжалось бы в ней год, то, конечно, думалось ей, к концу года она, красавица, полная огня, молодости и силы, сделалась бы такой же старухой, как ее старая и злая графиня-тетка.

Но если Людовика ежедневно, ежечасно сгорала от нетерпения и от разных – то радостных, то грустных – дум, то, во всяком случае, она воспиталась за это время или даже перевоспиталась. Она перестала быть прежним взрослым младенцем, безропотно и ясно взиравшим на весь мир божий.

XXV

Прошло еще несколько дней, и жизнь в замке пошла несколько тише, все были спокойные, как будто все уже устали радоваться и привыкли к новому событию и к мысли о будущих празднествах. И все пошло в замке по-старому, как шло несколько лет кряду.

Только один человек нарушил прежний порядок жизни. Он один внес нечто новое в обычный и обыкновенный уклад жизни.

Это был отец Игнатий. Он продолжал болеть, хворал все сильнее и, как все подагрики, начал все более и более капризничать, когда его навещала старая графиня, поборовшая в себе чувство стыда.

Так как ей казалось предосудительным бывать у своего друга и видеть его полуодетым в постели, то вскоре ради того, чтобы видаться, капеллан стал надевать свой обыкновенный кафтан; с помощью своей сиделки-аббата пересаживался в кресло и покрывал ноги одеялом и большим платком.

Отец Игнатий становился изо дня в день все раздражительнее, стал уже позволять себе такие слова и предъявлять такие требования, что графиня принуждена была отправиться к брату, пожаловаться и просить помочь горю.

Граф снова навестил больного.

Отец Игнатий встретил его целым потоком упреков и жалоб.

«За его долголетнюю службу его бросили как собаку, – говорил он. – Никто его не навещает, не хочет облегчить его страданий. Он, больной, лежит в душной маленькой горнице, когда в замке есть большие залы, остающиеся пустыми. Если бы не его друг аббат, то он теперь наверное бы умер».

Отец Игнатий говорил с такою страстью, так резко выражался, делал такие жесты, какие никогда не позволял себе в прежнее время, при владельце замка, от которого он вполне зависел.

Граф принял это, как и следовало. Он понял, что это раздражительность больного человека, доводящая его до полусумасшедших поступков.

– Но что вы желаете? – кротко спросил он. – Я сделаю все, что хотите, даже то, что, по моему мнению, было бы излишне и несколько не облегчило бы ваши страдания. Но мне хочется исполнить все ваши прихоти, чтобы доказать вам, как вы ошибаетесь насчет сестры и меня. Хотите перейти в другую горницу, более просторную, более светлую? Переходите хотя бы в ту, где библиотека. Вы мне мешать не можете, да, наконец, я теперь никогда в библиотеке не бываю.

Отец Игнатий отказался наотрез, а попросил только немедленно послать в Кенигсберг за одним ученым знахарем, который хотя не имеет диплома доктора медицины, но про которого он узнал недавно очень утешительное для себя известие.

– Этот знахарь замечательно вылечивает от подагры. У меня нет средств послать за ним, – сказал отец Игнатий, – я знаю наверное, что он меня вылечит. Доктора, которые ездят к вам из Киля, ничего не смыслят, а этот вылечит меня тотчас.

– За ним будет послано сегодня же, следовательно, через несколько дней он будет здесь, – отвечал граф. – Вместо того чтобы раздражаться, вам следовало сказать мне.

Через час граф получил у себя в кабинете письмо с адресом в Кенигсберге, которое прислал ему капеллан. Вместе с этим он просил графа, через лакея, позволить ему перейти в библиотеку, так как он передумал и находит, что действительно ему будет там удобнее.

Вечером гонец уже скакал с письмом к знахарю с тем, чтобы привезти его немедленно в замок, а люди перенесли кровать и все вещи отца Игнатия в библиотеку; а затем перенесли и его самого.

Покуда больного переносили через комнаты и через коридор, он все охал от боли и удивлял всех своею раздражительностью. За несколько лет никто из служителей не слышал от него даже громко сказанного слова, а здесь – в какие-нибудь пять минут – он успел разбранить всех самым ядовитым образом, говоря, что все глупы, неловки, невежливы и на смех заставляют его страдать.

Граф не очень был доволен тем, что согласился на просьбу и на прихоть капеллана. Его кабинет отделялся от коридора большой горницей, где принимал он незнакомых ему или близких лиц, но не равного с ним происхождения, которые являлись по какому-либо делу. Именно против дверей этой комнаты, через коридор, была дверь в библиотеку, просторную залу, обставленную по стенам большими шкафами, переполненными книгами. Но делать было нечего, так как он сам предложил капеллану эту комнату.

Через несколько дней в замке появился крайне приличный молодой человек, скромный, чересчур конфузливый, едва отвечавший на вопросы всех тех, кто с ним разговаривал.

На графа он произвел впечатление молодого и притом крайне глупого человека. Это и был знаменитый знахарь. Граф, думая о том, как этот глуповатый малый будет лечить и вылечит отца Игнатия, невольно смеялся.

Одновременно с ним приехал курьер из Берлина и привез письмо графу от того поверенного, который взялся вести дело.

Содержание письма оказалось настолько приятно графу, что он тотчас сообщил о его содержании старой сестре и дочери.

Поверенный писал, что все дело можно устроить отлично, что на днях он сам будет в замке и привезет уже готовый документ, который останется только подписать.

В этот же самый вечер Людовика по обыкновению около семи часов вечера явилась к отцу. И сколько граф был весел и доволен, что дело так быстро и успешно устроилось, столько Людовика была печальна и даже чувствовала, что ей как будто нездоровится.

На вопросы отца, почему у нее такой невеселый вид, она отвечала, что сама не знает.

И действительно, Людовика сама не знала; ничего особенного с ней не случилось, да и вообще ничего особенного не было в доме. Ей смутно и бессознательно было неприятно, что этот скверный человек капеллан и его приятель аббат, который произвел на нее страшное впечатление своей фигурой, – оба так близко помещены от кабинета отца.

Но выразить какое-либо подозрение, намекнуть об этом отцу или прямо сказать, что она чего-то боится, чего сама не знает, Людовика не решалась. Ее собственный страх казался ей чересчур глупым и даже смешным. Что может какой-то скверный и злой человек, но безногий и больной, вместе со своим каким-то уродом приятелем сделать владельцу замка? Ведь не зарежут же они его!!

Людовика вспомнила угрозы отца Игнатия, вспомнила разные мелочи, его болезнь, случившуюся в самый день приезда отца, когда он несколько лет никогда не болел, и все ее размышления сводились к тому, что ее что-то тревожит, но что тревога эта есть просто плод праздного воображения. Все, что представлялось ей, казалось разуму смешной бессмыслицей, о которой даже стыдно заговорить вслух.

Просидев немного у отца, она и на графа навела скуку.

– Нет, ты нынче такая скучная, что лучше ступай к себе и ложись раньше спать, – смеясь выговорил он.

И он, шутя, выпроводил ее от себя, позвал людей и велел провести ее на ее половину. Но, вероятно, тайная сила, действующая на земле, чувствуемая, но не видимая людьми, коснулась и графа.

После ухода дочери он хотел было заняться делом, но бросил бумаги и глубоко задумался, вдруг, без всякого повода и внешней причины. Вся жизнь его восстала перед ним в образах,

и чередой, пестрой вереницей все события и лица прошлого, дальнего и ближайшего, прошли перед его глазами.

Придя в себя, граф даже удивился, почему на него напало это раздумье: почему вдруг вспомнилось ему все это прошлое и вспомнилась такая куча мелочей, о которых он давно забыл.

И вдруг и к нему в сердце заползла необъяснимая тревога, и он, подумав, ответил сам себе вслух:

– Так бывает, бог весть почему, быть может, оттого, что для меня начнется новая жизнь, другая, радостная, в которой я буду пожинать плоды моих трудов и моей настойчивости. И вот перед этой новой жизнью душа как бы сводила счета с прошлым.

– А может быть, – прибавил он, помолчав, – может быть, Людовика своим тоскливым видом навела на меня тоску.

Проглядев кое-какие бумаги, граф посмотрел на часы и удивился. Видно, много и долго думал он, так как было уже около полуночи. Обыкновенно он ложился гораздо раньше.

Он потушил свечи и с одной свечой в руке прошел в свою спальню.

Он уже было начал раздеваться, как всегда, один, без помощи слуги, но эта безымянная и невидимая гостья – тревога все была с ним, все заглядывала в сердце.

Полураздетый, он вдруг, по странному повороту мысли, испугался вопроса:

– Что – дочь?

И прежде чем он отдал себе какой-либо отчет, он снова быстро начал одеваться и еще быстрее, со свечой в руках, направился в коридор, чтобы пойти спросить о здоровье дочери.

Дверь из приемной в коридор он всегда сам запирает на ключ, уходя спать.

В ту минуту, когда он отпирал дверь и замок звонко щелкнул среди ночной тишины, около дверей библиотеки мелькнула в темноте чья-то фигура.

Граф оставил было ключ в двери, но вспомнив, что у него завелись новые соседи, ему неизвестные, он вернулся, запер дверь, вынул ключ и двинулся через весь замок на половину дочери.

– Однако в сущности как это скучно, как это глупо! – бормотал он про себя. – Двое неизвестных мне совершенно людей, приглашенных этим привередником, поселились теперь у самого кабинета, и я должен запирается от них. Какое глупое положение! Как мне раньше не пришло это на ум! Отца Игнатия я знаю давно, но кто они такие, бог весть. Во всяком случае, я у себя в доме принужден от них запирается. Не опасно, а просто глупо, – снова проворчал он вслух, двигаясь по бесконечным горницам и коридорам.

Раза два по дороге он разбудил светом и звуком шагов дежурных людей. Он даже страх навел на них, настолько необычна была подобная прогулка среди ночи.

Вскоре граф был на половине дочери и остановился.

Там все было тихо. Разбудить горничную, спросить о здоровье дочери, нашуметь – значит, перепугать ее! Из-за чего? Из какого-то малодушия, из какой-то странной фантазии. Конечно, она ничего, слава богу, спит себе спокойным сном.

И прислушавшись еще немного, найдя полное спокойствие во всех комнатах, прилегающих к спальне Людовики, граф повернулся и тихими шагами двинулся назад. Он уже смеялся сам над собою.

Между тем у его дверей из приемной в коридор в темноте три голоса шептались и горячо спорили.

– Сам дается в руки, – говорил один. – Как можно терять такую минуту, в другой раз не будет. Что за дело, что оно не так, как мы думали.

– Нет, ни за что! – отозвался капеллан, стоявший с другими у самых дверей. – Нет, если он бродит в полночь, стало быть, он до утра не заснет. Да, прогулкой этой глупой он, наверное, поднял на ноги многих. Нет, пустое: как сказано, так и будет.

И он почти удерживал за руку аббата, который вырывался, убеждал и почти умолял приятеля позволить ему исполнить свое намерение.

У аббата в руке был ключ, и он умолял позволить отпереть дверь, только что запертую графом.

Третья фигура молчала, как бы готовая присоединиться к тому, чья сторона возьмет верх.

Покуда три человека шептались и спорили, прошло несколько минут, и в конце коридора показался свет и мерно шагающая фигура владельца со свечою.

В одну секунду все трое вошли в библиотеку и притихли за дверью.

Граф вернулся, отпер дверь и, войдя, снова запер ее за собою на ключ.

XXVI

Наутро самую интересною новостью дня, которая переходила из уст в уста, была ночная прогулка графа через весь замок.

Двое из служителей, видевшие его ночью со свечой, прошедшего на половину дочери и тотчас же вернувшегося назад, рассказывали об этом, недоумевая и удивляясь.

Все обитатели замка так привыкли к тому, что владелец никогда не делал ничего без серьезного повода, что всякий его простой поступок имел значение. К некоторой таинственности его жизни они давно привыкли. Они не удивлялись тому, что он сидел иногда, запершись в своем кабинете, по целым дням, и любимый камердинер приносил ему и завтрак, и обед, и граф снова запирался. Впрочем, для этого имелось объяснение. Многие знали, что граф в эти дни занят какими-то странными опытами в небольшой горнице, прилегающей к кабинету, где была лаборатория. Для более умных – он забавлялся какой-то хитрой наукой ради занятия в праздное время, для других, конечно, поселян окрестности, знавших его привычки, это было колдовством.

Но теперь разгадать – зачем граф в полночь вышел со свечой, прошел весь замок, дошел до горницы дочери и тотчас же вернулся обратно – не было никакой возможности.

Одна из горничных молодой барышни не спала, видела свет в соседней горнице и удивилась; вскочив с постели, она глянула в замочную скважину и, увидев графа со свечой, даже испугалась. Наутро она, конечно, рассказала это другим, рассказала Эмме, а та передала Людовике.

Около полудня граф вспомнил свою прогулку, и ему стало досадно на самого себя, что он без всякой причины вдруг стал тревожиться о дочери и сделал смешной поступок. Он отлично знал, что все обитатели замка будут недоумевать и удивляться.

А между тем он помнил хорошо, что тревога, которая была в душе его, не позволила лечь спать. Теперь при воспоминании об этом чувстве, которое совершенно исчезло, он невольно пожал плечами.

Старая графиня, узнавшая тоже о ночном происшествии, тотчас же собралась проведать отца Игнатия. Она вошла к нему взволнованная, но через несколько времени вернулась к себе совершенно спокойная.

Более всех была встревожена Людовика. Как только она узнала, что отец завтракает, она тотчас послала просить позволения прийти.

Граф понял причину.

– Ей, верно, уже передали, – подумал он.

И он приказал сказать дочери, что сам тотчас будет у нее.

– Верно, мое ночное посещение тебя встревожило? – С этими словами вошел он к ней. – Тебе передали, что я приходил ночью?

– Да, конечно.

– И ты не можешь понять, почему, зачем я приходил?

– Да, меня беспокоит это.

– А между тем беспокоиться нечего. Я так заработался, что потерял полное сознание о времени, я вообразил себе, что еще очень рано, и хотелось с тобою побеседовать. И только придя в твою приемную, увидел, что уже полночь, и, сконфузившись, отправился назад.

Граф говорил совершенно естественным шутивным тоном и весело смеялся, но в голосе его было что-то, заставившее Людовику почувствовать, что он лжет. Вследствие этого она встревожилась еще более, вместо того чтобы успокоиться.

Граф заметил это.

– Что ж, ты как будто не веришь?

Людовика подумала и решила отвечать откровенно.

– Нет, не верю, положительно не верю. Мне что-то говорит, что это неправда.

Граф перестал смеяться, вздохнул и выговорил:

– Конечно, ты права. Я солгал, и неизвестно зачем. Вот если бы ты всегда была со мною так откровенна и искренна, то, быть может, и я был бы с тобою проще, правдивее. А сколько раз, я помню, приходилось мне с тобою лгать... и неизвестно зачем.

– Кто же в этом виноват, отец? Я сама часто думала, что мы здесь живем, как... не знаю как и сказать – как-то не так, как бы следовало, не так, как другие живут. Мы не родные, даже не друзья, а просто хорошие знакомые.

Граф подумал и вымолвил тихо:

– Да, это правда. Ну да теперь об этом нечего и говорить. Этой жизни конец.

И он собрался уже уходить от дочери, вспомнив о нескольких письмах, которые надо было написать.

– Ну, а правда так и останется. Я так и не узнаю, зачем вы приходили? – усмехнулась Людовика несколько принужденно.

– Да, забыл. Я приходил, потому что мне вдруг показалось, что ты больна.

– Каким образом? Почему?

– Не знаю сам, просто вдруг стало как-то тревожно на сердце, я и пошел.

– Но, стало быть, очень тревожно, если вы решились идти?

– Да, была минута тревоги, и я сказал себе, что, в сущности, ничего не стоит пройтись на другой конец замка, и пошел. Но когда я прошелся, пришел, то понял, что, перебудив твою прислугу, я только напугаю тебя, и отправился назад.

– Странно это! – выговорила Людовика и задумалась, опуская голову. – Странно! Всю ночь и я не спала, всю ночь была в такой же тревоге.

Граф рассмеялся совершенно добродушно и весело.

– Ну, стало быть, мы оба, и я, и ты, просто шалим: нам следовало бы получить хороший выговор и вести себя, как подобает разумным людям. Что касается меня, то я обещаю тебе, что более такая глупость со мною не случится.

Граф рассмеялся, расцеловав дочь, и весело пошел к себе.

Насколько вчера ему было как-то беспричинно грустно, настолько сегодня он был бодр и весел.

Веселость эта за весь день не только не уменьшилась, но даже увеличилась и дошла до того, что за обедом он стал шутить с одним из людей, который неловко подал блюдо.

Такого рода фамильярность даже удивила всех.

За тем же обедом граф рассказал, что ему нужно было написать письмо и сделать заказ мебели для приемной Людовики и что, не имея возможности сообразить, сколько нужно мебели, он решил среди ночи пойти взглянуть, какое количество мебели может поместиться в этой комнате. Это было, конечно, сказано при людях, чтобы дать объяснение всему замку насчет своего ночного посещения.

Людовика была хотя невесела за обедом, но несколько спокойнее, нежели утром.

Что касается старой графини, то она была особенно сурова, молчалива, почти что не касалась пищи и только отвечала на некоторые вопросы брата. Чтобы объяснить свое настроение духа, графиня сама в конце обеда сказала, что положение больного ее начинает очень смущать, что бедный отец Игнатий, вероятно, навсегда лишится способности ходить.

– Страшно подумать, какое это ужасное существование, – сказала графиня, – для человека его лет быть без ног и лежать в постели или сидеть в кресле.

– Но что ж этот новый доктор или знахарь? – спросил граф. – Если он столько же сведущ, сколько глуповат лицом, то, разумеется, он не поможет нашему капеллану.

– Да, к несчастью, и эта последняя надежда не осуществилась, – вздохнула графиня. – Этот знахарь даже не шарлатан, а просто какой-то глупый молодой человек, ничего не понимающий не только в медицине, но даже и в самых простых вещах. Но ведь теперь оказывается, что это обман, это не сам знахарь, про которого отцу Игнатию писали. Это его сын. Сам он приехать не мог и прислал его вместо себя.

– Стало быть, остается надежда, – спросил граф, – что приедет когда-нибудь сам искусник?

– Да, надо будет об этом подумать, – веселее и как-то странно ответила графиня.

Людовика слушала внимательно и особенно внимательно глядела в лицо старой тетки и что-то думала. И лицо ее на минуту стало снова задумчиво, снова тревожнее. Каждый раз, как заговаривали об отце Игнатию, об его аббате-сиделке и о новом докторе, что-то странное и неуловимое заползало в душу молодой девушки; и те мысли, которые появлялись у нее, были таковы, что она затруднялась высказать их отцу.

Перед сумерками граф предложил Людовике вместе отправиться кататься в маленьком кабриолете.

Девушка с радостью согласилась, так как давно уже она не ездила с отцом. Зимой она делала эти прогулки реже, таким образом, теперь минуло почти девять месяцев с того раза, что она в глубокую осень ездила кататься.

Едва только очутились они вдвоем в красивом кабриолете и выехали в поле, как оба оживились. Беседа сразу пошла о том же, о чем вскользь заметила Людовика утром, то есть о холодных, официальных отношениях, в которых они жили так долго, об отсутствии искренности, простоты и нежности в их отношениях.

– Как это странно, – сказала Людовика, – что теперь так поздно приходится нам об этом говорить.

Когда они возвращались домой, то граф, помолчав несколько мгновений, вымолвил, с любовью глядя на красавицу дочь, которая сидела рядом с ним:

– Да, странно. Я не знал, что ты такая... Я хочу сказать, что я не знал, насколько ты возмужала. Я все как-то считал тебя такой же девочкой, какую привез сюда. Знаешь что, Людовика, как-нибудь на днях вечером приходи ко мне; я с большей искренностью расскажу тебе все то, о чем до сих пор умалчивал. Во-первых, это необходимо тебе знать, а затем, я даже рад, что ранее не говорил с тобою об этом. После нашего нынешнего признания в любви, – усмехнулся он, – я расскажу тебе то же самое, что хотел, но уже совершенно иначе. Это будет исповедь брата, а не повествование отца.

Когда граф и Людовика подъезжали к воротам замка, было уже совершенно темно. Фонари у главных ворот были зажжены, и кое-где в окнах замка появлялся свет от зажигаемых свечей. В то же время слуга, заведующий освещением замка, вносил и расставлял свечи в кабинет.

XXVII

За полчаса до появления свечей в замке среди полных потемок небольшая фигурка вышла из дверей библиотеки, быстро прошмыгнула в растворенную дверь большой приемной, отделявшей кабинет от коридора, и скользнула вдоль стены в угол к большому шкафу с красивой резьбой, которому было, конечно, лет триста. С легкостью мальчугана или канатного плясуна фигурка вскочила на шкаф, перелезла и спрыгнула на пол в то пустое пространство, которое оставалось в углу между поперечно стоящим шкафом и двумя стенами.

Усевшись в этом треугольнике, эта фигурка глубоко вздохнула, потом, после паузы, еще глубже вздохнула, и этот вздох происходил, конечно, не от усталости, а, вероятно, от той смуты, которая была на душе.

Граф вернулся, простился с дочерью, прямо прошел к себе и, как всегда спокойно, поработал у письменного стола часов до одиннадцати.

В этот вечер его работа особенно прерывалась мыслями о дочери. Он упрекал себя в том, что почти не знал ее, что покуда он считал ее ребенком, с которым у него не было ничего общего кроме любви, она была уже взрослая и, даже более, уже разумная женщина, с которой он мог беседовать обо всем. И в эту минуту ему показалось, что он еще более полюбил ее. С каким наслаждением думал он теперь, что устроит счастье этой милой Людовики.

Молодая девушка у себя тоже думала об отце и радовалась, что между ними завязались какие-то новые отношения, менее натянутые и холодные, чем прежде. Сегодня отец был таким, каким ей всегда хотелось его видеть, и Людовика упрекала себя за то, что раньше никогда не подумала поговорить с отцом решительнее и искреннее.

Однако она должна была признаться, что сама за время его отсутствия сразу как-то поумнела, что когда отец уезжал в свое последнее путешествие, то она была как будто действительно еще девочкой. А кто это сделал, эту метаморфозу? Отец Игнатий, его внезапное посещение, странная просьба.

И при этом воспоминании, при этом имени Людовика снова встревожилась. Как ей неприятно было, что этот скверный человек, хотя теперь и безногий, поселен отцом так близко от себя. И уже в сотый раз Людовика засыпала, мысленно борясь сама с собою, говорить ли отцу о той беседе, которая была у нее с иезуитом и теткой. И теперь, после сегодняшнего разговора, она решила, что она обязана рассказать все. Коль скоро быть искренней, то надо говорить обо всем, тем более о том, что ее немного тревожит.

– Завтра же расскажу все отцу, – сказала она, – но попрошу его не выгонять капеллана из дома, а если и прогнать, то дать ему денег.

И после этой решимости Людовика сладко и спокойно заснула, улыбаясь в полусумраке своей спальни.

В ту минуту, когда граф спокойно лег в постель, предварительно заперев по обыкновению дверь из приемной в коридор, старая графиня, войдя в свою спальню, разделась при помощи горничной и легла в постель. Но затем, отпустив ее через несколько минут, когда все стихло в соседней горнице, она быстро встала с постели, заперлась в своей спальне на ключ, чего никогда не делала, и снова стала одеваться.

Но на этот раз она надела туфли и свой капот, в котором бывала по утрам. Одевшись, она походила немного по своей горнице, но, чувствуя, что ноги ее слабеют от того волнения, которое было в ней, она села в кресло, поставив его у самых запертых дверей, и просидела неподвижно около часа.

Но вдруг будто ужас охватил ее, она тихо ахнула, опустила голову, крепко схватила себя костлявыми руками за виски и осталась так надолго. Она тяжело дышала, но ни слова не прошептала. Зато в ней самой происходила буря.

В это же самое время в библиотеке отец Игнатий и аббат одетые стояли у дверей, ведущих в коридор.

Уже давно стояли они друг против друга, оба превратились в слух, но ни единого слова не сказали, ожидая более часа.

Когда на башне замка пробило двенадцать часов, аббат шепнул:

– Теперь скоро!

– Да, – глухо отвечал отец Игнатий.

– Знаете что, – продолжал шепотом аббат. – Когда я был приговорен к казни, от которой удрал, как я вам рассказывал, то я помню, что я в тюрьме ожидал казни с такими мыслями, которые передать мудрено. Теперь со мною делается совершенно то же. Вы понимаете, что если что-либо не удастся, если даже падет только подозрение, то я погиб. Меня стоит только начать допрашивать ловкому судье, и я сейчас спутаюсь, потому что мне слишком надо будет лгать. О последних трех годах моего существования я даже ничего не могу сказать: я даже не могу назвать тех мест, где я был, потому что это все равно что признаться во всех преступлениях. Если будет малейшее подозрение на меня, то я погиб.

– Перестань болтать! – сухо выговорил капеллан.

Почти в эти же самые минуты фигурка, то есть молодой и глуповатый знахарь, ловко прицепился из своего угла за шкаф, с необыкновенной ловкостью, как кошка, перелез и спустился с противоположной стороны.

Он был разут и без единого звука стал пробираться из приемной в кабинет.

Здесь он осмотрелся, остановился и невольно положил руку на сердце. Ему казалось, что оно так стучит, что нарушает ночную тишину.

Малый никогда не бывал в кабинете, но знал по рассказам расположение всего. Знал, что налево дверь в спальню, а в ней направо, под занавесом, стоит кровать изголовьем к дверям.

Простояв несколько минут недвижимо, как бы заставив себя насильно успокоиться, но все еще прерывисто и громко дыша, фальшивый доктор двинулся к дверям спальни, открытым настежь. У дверей он опустился на четвереньки, как кошка, подполз к изголовью кровати и стал прислушиваться.

По крайней мере, четверть часа прошло в этом прислушивании, и в эти четверть часа он изучил, казалось, дыхание спящего.

Граф в эти четверть часа ни разу не шевельнулся, и его громкое дыхание, ровное и легкое храпение доказывало ясно, что он спит самым спокойным сном.

– Храпишь, тем лучше! – подумал человек, полулежа на полу около занавеси, и какая-то дикая, не злобная, а дурацкая усмешка скользнула на лице его.

– Захрапи посильнее, и тогда будет безопаснее, – снова подумал он.

И в этом положении у изголовья кровати, на полу, скорчившись, бродяга знахарь пробыл еще несколько минут.

Действительно, вскоре граф стал дышать глубже, реже, спокойнее и храпел сильнее.

Человек двинулся, подавив в себе тяжелый вздох, достал из кармана что-то небольшое, поднялся и едва заметно стал подвигаться к занавеске, за которою раздавалось храпение спящего.

Поднявшись на ноги, он был не более как за аршин от подушек постели, но ему понадобилось, по крайней мере, минут пять, чтобы из этого положения очутиться в другом. Только через пять минут он одною рукою приподнял занавес, нагнулся ближе к спящему, разглядел при полусумраке его лицо и поднес к нему то, что было у него в правой руке.

Рука его слегка дрожала, и он поневоле несколько удалял то, что было в ней, от дыхания графа, боясь, что нервная дрожь заставит его толкнуть спящего и разбудит его.

Но через несколько мгновений, менее полуминуты, дыхание спящего сразу переменялось.

Человек сразу посмелел. Ближе, почти к самому носу поднес он флакон, который держал в руке, и затем уже, не боясь и не смущаясь, он смело откинул занавеску, взял спящего за руку и нащупал пульс. Затем в одну минуту он вынул из кармана большой кусок ваты, вылил на нее всю жидкость, какая была во флаконе, и вату эту положил на лицо, закрыв рот и нос и прижав крепко ладонью.

Граф уже давно не дышал ровно и раза два-три тихо будто простонал. Наконец, теперь он простонал еще сильнее и судорожно дернул ногами.

Знахарь, не отнимая ваты, снова пощупал пульс, затем приложил ухо к груди спящего и, прислушиваясь к биению сердца, выговорил вслух:

– Ну теперь тебя барабаном не разбудишь, а пожалуй, и совсем готов. И аббату не понадобится доканчивать.

В ту же минуту он отворил настежь окно. Запах чего-то едкого был так силен, что начинал его самого одурманивать.

Когда свежий воздух ворвался в спальню, то знахарь, прижав сильнее вату на лице неподвижно лежащего графа, пробежал быстро, неслышно к двери, ведущей в коридор, и прислушавшись, среди полной тишины один раз стукнул в дверь.

XXVIII

Два человека, стоящие за противоположную дверь, вздрогнули. Отец Игнатий отошел в сторону.

Аббат вышел в коридор и огляделся. В качестве сиделки он, конечно, мог и по ночам выходить в коридор, не навлекая на себя подозрения. Оглядевшись в коридоре и видя только повсеместную тишину и сон, аббат стукнул в дверь приемной графа.

Дверь эта тотчас отворилась.

– Скорей! – вымолвил знахарь.

В ту же минуту отец Игнатий ловко скользнул из своих дверей в дверь приемной. Затем дверь эта была снова заперта, и все трое вошли в спальню.

Первым движением капеллана было броситься и запереть окно. Он даже не посмотрел на лежащего.

– Что ты! Очнется! – шепнул он.

– Ни-ни, не бойтесь, – усмехнулся и громко выговорил знахарь. – Вы посмотрите.

И он смело двинулся к кровати, взял лежащего за руку, поднял ее и бросил. Рука упала, как у мертвого, шлепнув по одеялу.

И капеллан если не вздрогнул, то почувствовал, что его покорило.

– Ну теперь, – выговорил он, обращаясь к аббату, – теперь скорей. Тебе...

– Да, уж мне, – выговорил этот глухо.

Отец Игнатий тотчас вышел из спальни, остановился в кабинете и прислушался к шороху, происходившему в спальне; он стоял как истукан, тяжело переводя дыхание.

А там между тем преступник, переодетый аббатом, спокойно своими страшными лапами работал...

Вытащив обе большие подушки из-под онемевшего графа, он набросил их ему на лицо и навалился...

Через час все трое прислушались у дверей коридора. Все в доме спало.

Отец Игнатий тихо вынул ключ из двери и передал его знахарю.

Тот быстро сбегал в спальню и положил его на столике около кровати, на которой снова в прежнем положении на двух подушках лежал уже не усыпленный искусственно, а задушенный злодеями мертвец.

Так же быстро вернулся знахарь к дверям, где еще все прислушивались два его товарища. Другой ключ, поддельный, был уже тихонько вложен капелланом в дверь, и он все еще не решался отворить.

– Что ж вы? – спросил аббат.

– Глупый, – шепнул капеллан. – Эта последняя, но самая страшная минута. Отвори дверь и попадись кому-нибудь на глаза, и тогда немедленно надо бежать. Я лучше час лишний простою здесь, ведь мы теперь одни.

– Как одни!

– Теперь мы здесь трое, так чего ж нам бояться. Ведь он уже там, далеко!

– Да, точно, далеко, у престола Господа Бога, – с циничной нежностью в голосе проговорил острожник-аббат.

Наконец капеллан решился, повернул ключ в замке, тихонько отворил дверь и выглянул в коридор.

После этого все трое проскочили в дверь.

Капеллан, вставив ключ снаружи, снова запер дверь приемной, вынул его и бросился в библиотеку с судорожно сжатым ключом в руке.

Все было кончено, и следов никаких.

Капеллан остановился среди библиотеки и выговорил:

– Ну, мы – гении. Мы положительно умнейшие люди. Сам черт теперь ничего не поймет и ничего не распутает. А между тем как это просто. Только это...

И он показал ключ.

– Теперь надо это уничтожить, просто хоть съесть, – смеясь, сказал знахарь.

...Бывают на свете странные вещи, бывают в жизни человека странные и необъяснимые минуты.

В эту ночь, между полночью и двумя часами, Людовика не могла глаз сомкнуть, и наконец вдруг почему-то среди дремоты она ясно увидела отца своего, протягивающего к ней руки, болезненного, зовущего ее. Она так ясно слышала: Людовика! Людовика! – что вскочила с кровати и опомнилась только среди комнаты.

– О, Господи! – в трепете выговорила она. – Помилуй нас. Что ж это!

И она перекрестилась.

Однако через несколько минут она всячески успокоила себя и снова легла в постель и заснула безмятежным сном.

Долго капеллан обдумывал, что сделать с ключом, отлично понимая, однако, что небольшую вещь всегда можно спрятать или уничтожить; но он будто умышленно раздумывал и возился с этим ключом, чтобы прогнать из головы воспоминание о тех страшных минутах, которые он пережил за час перед тем; в то же самое время знахарь смелой походкой отправился через замок на половину старой графини и вошел в ее приемную. Если кто увидит его, то ответ был заранее готов.

– Капеллану дурно, разбудите графиню, попросите того лекарства, о котором она говорила.

Но никто не видел его; все в эту пору спали крепчайшим сном.

Достигнув без труда спальни старой графини, знахарь два раза ударил слегка в дверь. От этого стука, хотя и легкого, графиня, сидевшая у дверей, задрожала всем телом, поднялась, опустила в кресло, снова поднялась и быстрыми шагами отошла от двери, как если бы за ней появилось привидение.

Но снова раздался условный знак, снова два толчка, и графиня, как бы из чувства самосохранения, которое вдруг сказалось в ней, бросилась к двери и отвечала тем же стуком. Знахарь быстро двинулся и вскоре был снова с докладом у капеллана, что графине доложено.

А старая графиня была в своей горнице в таком положении, что, конечно, потом всю жизнь помнила эту ужасную и грешную ночь.

Она металась по комнате, дико озираясь. Она бы дала все на свете, чтобы теперь около нее был живой человек, кто-нибудь из горничных. А между тем она боялась разбудить какую-либо из них, потому что чувствовала, что не сумеет притвориться и выдаст себя. Конечно, сказавшись больной, можно всех поднять на ноги, но самая глупая из этих горничных, увидя ее теперь, поймет, что она не больна, что с ней происходит что-то иное и страшное.

Только с рассветом успокоилась старая девица, жертва отца Игнатия, жертва деятелей ордена Иисуса, которых было так много, было без числа за целых два столетия.

Последствием того, что совершилось в эту страшную ночь в замке, было то, что громадные суммы, перейдя в руки старой девы графини, перешли в руки человека, который был далеко отсюда. Отец Игнатий, быть может, как-нибудь скоро будет кардиналом, но руководить и распоряжаться огромным состоянием будет не графиня... и даже не он, отец Игнатий, а этот «неизвестный».

XXIX

Около десяти часов утра главный камердинер графа подошел к двери с утренним завтраком на подносе.

Найдя дверь запертой, он снова пошел в буфет, но затем тотчас же вернулся и стал ходить около двери, ожидая каждую минуту, что ее отперут. Около часа проходил он по коридору взад и вперед, удивляясь, что граф, такой аккуратный и точный в своей обыденной жизни, на этот раз так долго спит.

Когда прошел еще час и был уже полдень, камердинер, уже несколько встревоженный, стал пробовать замок, стараясь на шуметь, чтобы граф вспомнил, что он еще не отпирал двери.

– Может быть, сердится на мою неаккуратность, – думал камердинер. – Ждет завтрака, а сам забыл, что дверь заперта.

Подвигавши ручкой, лакей заглянул в замочную скважину и увидел, что ключа в замке нет. Это его удивило. Насколько он мог припомнить, граф, запиравший дверь постоянно, никогда, однако, не вынимал ключа из замка.

– Быть может, он упал, – подумал лакей.

Он прилег лицом к полу, стал смотреть в скважину под дверью. Пол всей комнаты был освещен и ему виден, но ключа не было.

Он встал с пола и не знал, что делать. Совершенно машинально, почти бессознательно он отправился в прихожую, где сидело несколько человек прислуги, и объявил им странную новость: первый час, а граф не отпирал еще своей двери.

Новость эта была принята людьми несколько равнодушно.

– Занят, – сказали некоторые, – подожди, отперет.

И еще полтора часа замок оставался в спокойном, обыденном виде.

Однако только прислуга была вполне спокойна. Людовика у себя была несколько встревожена своим ночным сном и рассказывала его Эмме. Она с нетерпением дождалась, когда можно будет послать к отцу попросить позволения явиться к нему среди дня, не в урочный час, хотя на минуту. Ей хотелось скорее рассказать отцу пустой случай, но все-таки тревоживший ее, то есть свой сон, а равно свою беседу с отцом Игнатием во время его отсутствия.

На половине графини прислуга тоже была спокойна, но сама старая графиня не вставала с постели, чувствуя легкое нездоровье, отказалась от кофе и лежала в кровати лицом к стене.

Девушка, служившая ей и равно ее наперсница, заметила по лицу старой графини, что она действительно нездорова.

Зато в библиотеке три личности – отец Игнатий, безногий в постели, аббат, все той же сиделкой на кресле около его кровати, и знахарь – были не только встревожены, но даже слегка бледны; и каждый старался друг друга успокоить.

Отец Игнатий наиболее владел собою, только глаза его горели необычным, лихорадочным блеском, и он часто проводил рукою по лицу, по лбу, по голове, как будто хотел освободить ее от навязчивых и бурных мыслей.

Аббат сидел, опустив голову на руки, и жаловался, причитал, говорил о том, что не надо было поручать дело дураку, надо было все сделать самому, а теперь этот дурак всех погубил.

Знахарь был наиболее смущен и от упрека двух товарищей, и от того, что теперь ожидал себе от ночного дела. Мальчик решил про себя, что, как только будет возможность, он ускользнет из замка, хотя бы прямо в поле, для того чтобы бежать без оглядки.

Если бы кто знал, что сделали эти люди в эту ночь, то подумали бы теперь, глядя на них, что совесть сказала в них и чувство раскаяния взволновало их. Но дело было совсем не в том. Флакон отца Игнатия с жидкостью, усыпившею графа, был забыт в его спальне.

Тревога отца Игнатия еще более увеличилась около полудня. Он написал в записке полатыни старой графине несколько слов. В них было сказано:

– Есть следы преступления. Мой флакон позабыт на столике или на ковре около постели. Одно спасение: вам первой войти в комнату и взять флакон.

Эта записка была передана из рук в руки знахарем наперснице графини.

Графиня прочла ее, сильно изменилась в лице и тотчас же отвечала на клочке бумаги карандашом:

– Быть у вас не могу, самой нездоровится. Что касается записки вашей, то содержание ее мне совершенно непонятно.

Графиня передала этот клочок бумаги не свернутый, так что наперсница ее могла, передавая знахарю, даже прочесть содержание.

Отец Игнатий, получив этот ответ, встревожился более, чем в минуту, когда хватился флакона и узнал от знахаря, что он позабыт в спальне. Графиня умывала руки в преступлении.

Действительно, старая графиня, прочитав записку отца Игнатия, поняла, что ее роль меняется. До сих пор она оставалась в стороне, а теперь явиться и взять флакон значило быть соучастницей в преступлении и скрывать следы. Разумеется, если бы она могла очутиться первой в спальне и первой могла увидеть этот флакон, то, конечно, спрятала бы его.

Около четырех часов дня люди, уже несколько встревоженные, стали передавать друг другу известие, что граф не отпирал еще дверей.

Полный, ленивый, уже пожилой, но умный и хитрый метрдотель, или дворецкий, до которого дошла весть, тотчас же распорядился.

Он дал знать старой графине и просил позволения что-нибудь предпринять.

Но прежде чем известие это дошло до графини, прежде чем она успела одеться и с сильно изменившимся лицом и от мнимой болезни, и от тревоги выйти из комнаты, все в замке уже было на ногах, смущено, взволновано. Даже более того: все, что было обитателей в замке, было перепугано, потрясено не известием, что граф еще не выходил из своей комнаты, а потрясено видом и словами молодой барышни.

Действительно, когда известие, в сущности покуда еще очень простое, достигло Людовики, молодая девушка вскрикнула, схватилась за сердце и на несколько мгновений как бы потеряла сознание.

Но потом она сама очнулась, поднялась на ноги и, бледная, страшная лицом, изменившаяся настолько, что, казалось, переродилась в несколько мгновений, она тотчас бросилась по всем горницам и всех, кого встречала на пути, повелительным словом и жестом звала за собою.

Через несколько мгновений она была у дверей. Люди плотной кучей наполнили коридор, а дверь уже трещала под ударами двух плотников.

Первая вошла в кабинет, первая пробежала в спальню молодая девушка и первая увидела она труп отца в постели. Несколько мгновений смотрела она в мертвое лицо со страшными открытыми глазами и тут же потеряла сознание, но уже надолго.

Люди переполнили кабинет. Женщины перенесли молодую девушку на диван.

В эту минуту явилась старая графиня.

Но когда она переступала порог, усыпанный щепками и осколками от дверей, любимый лакей графа заметил на полу спальни и поднял дрожащею рукою небольшой флакончик.

Он лучше графа знал все его вещи: такого флакона он никогда не видал.

– Вероятно, – подумал он, – граф купил его себе во время последнего путешествия.

Но тогда за эти дни он бы видел его в руках графа, или же, быть может, тот умышленно спрятал этот флакон.

Старая графиня вошла в спальню, едва держась на ногах, подошла к кровати, на которой лежал мертвец, но глаза ее только скользнули по его лицу. У нее не хватило духа приглядеться к этому лицу, и взор ее стал скользить по всей мебели, столам и полу.

Но то, что она отказалась сделать для отца Игнатия и что, конечно, сделала бы теперь, сделать было нельзя – флакона нигде не было.

В несколько минут комната переполнилась всеми обитателями флигелей и надворных строений. Все стояли в каком-то оцепенении, глядя друг на друга и как бы спрашивая, прося разрешить загадку, объяснить странное происшествие. Молодой еще человек, сильный, крепкий, здоровый, никогда не жаловавшийся ни на какую болезнь, в самую счастливую минуту своей жизни вдруг найден мертвым в своей постели!

Графиня, выйдя из спальни, села недалеко от того дивана, где лежала еще в беспамятстве Людовика и слегка стонала, как во сне.

Графиня тотчас приказала скакать в город за доктором, а сама стала осматривать всю толпу домочадцев и наконец спросила, где знахарь, который лечит отца Игнатия.

Он оказался тут же, в толпе, его вызвали.

Он был встревожен, как и все прочие.

– Не можете ли вы, – спросила графиня, – объяснить как медик, что это может быть?

– Это очень простое явление, графиня, которое самый простой медик может вам объяснить. Это, вероятно, разрыв какой-нибудь артерии, разрыв сердца или удар крови в голову. Подобного рода явления случаются очень часто, именно так умирают очень многие люди, на вид совершенно здоровые.

Слова эти подействовали особенно на всех присутствующих, некоторым стало как-то легче. Происшествие перестало быть загадочным.

Но в эту минуту все вздрогнули от отчаянного крика, почти вопля.

XXX

Людовика пришла в себя... Оглядевшись, она вдруг вспомнила все, поняла все и, поднявшись с дивана, вдруг обратилась к плотной толпе, наполнявшей кабинет.

– Кончено! все кончено! – воскликнула она со страстью и горечью в голосе. – Они убили его! Но я, которая любила его, его дочь, хотя и незаконная, но обожавшая его и любимая им, и вы, тоже обязанные его любить за все добро, которое он вам сделал... И вы, и я – должны отомстить за него! Его убили в эту ночь, убийцы – капеллан, аббат и знахарь! И вот эта отвратительная женщина!.. – обернулась Людовика, показывая повелительным жестом почти в самое лицо сидевшей графини.

Вся толпа совершенно онемела...

– Неужели вы не чувствуете, неужели вам не говорит сердце, что это правда, что я вам правду сказала?

И эти слова были произнесены молодой девушкой с таким странным оттенком в голосе, что коснулись, тронули до глубины души всех присутствующих. И что страннее всего, каждый из них теперь действительно как бы почувствовал, что молодая девушка выразила то, что мелькало и у них в голове. Но оно казалось им настолько бессмысленным, что никто из них не решился сказать об этом вслух; каждый из них думал то же, а она сейчас воскликнула это во всеуслышание.

Все присутствующие смутились, глаза всех остановились на старой графине, ожидая от нее взрыва негодования, хотя какого-либо возражения или слова, какого-либо протеста.

Но графиня сидела неподвижно, как оцепенелая, бледнее снега, и не сразу два слова сорвались невнятно с ее языка:

– Что?! Безумная!.. Ты безумная! – прибавила она через мгновение. – Она от горя сошла с ума! – обернулась графиня ко всей толпе.

Но эти слова только более воодушевили Людовику. Ее горе, ее отчаяние как бы исчезли под наплывом негодования и чувства мести. Она вполне владела рассудком, и мысли в голове были яснее, чем когда-либо. Она была так искренно, так твердо убеждена в том, что говорила, обвиняя четырех лиц в преступлении, что именно эта искренность, это убеждение проникли и во всех присутствующих.

– Вы сестра отца моего, но он не любил вас, а вы его ненавидели так же, как я ненавидела всегда вас. Вы теперь наследница всего его состояния и замка, но, прежде чем вы вступите в ваши права, я здесь буду распоряжаться, но не имуществом, а чтобы отомстить за отца и раскрыть преступление. Я обвиняю вас, вашего друга капеллана, человека злого и коварного, и этих двух пришлых людей, никому не известных. Я докажу это преступление, я все вспомню и расскажу, хотя бы и то, как когда-то отец Игнатий усыпил меня из какого-то флакона и целовал, когда я была в бессознательном состоянии.

– Безумная! Безумная! – воскликнула графиня.

Но в ту же минуту кто-то вскрикнул и выдвинулся вперед.

Это был камердинер графа. Он бросился к Людовике со словами:

– Усыпил? Флакон? У меня флакон! Чужой! Вот он! Я нашел у постели.

И лакей, вытащив из кармана маленький флакончик, поднял его вверх дрожащею рукою.

– Вот он, Господь, наказывающий злодеев! – воскликнула Людовика. – Это флакон отца Игнатия, такой же был у него в руках, когда он меня...

Но Людовика не договорила и схватилась за сердце, которое, казалось, готово было перестать биться.

Странный гул и ропот прошел по толпе всех этих домочадцев разных национальностей. Еще недавно разделенные на три лагеря, хотя в шутку, теперь они были проникнуты одним

чувством, общим для всех, одною тревожною мыслью и проникнуты одним желанием – выяснить дело, страшное происшествие.

– До тех пор, – вскрикнула Людовика, – покуда здесь не будет правительственный судья из Киля и не возьмет все дело в свои руки, до тех пор я здесь приказываю. Хотите ли вы мне повиноваться во всем?

– Да, приказывайте, – решительно и громогласно было ответом.

Старая графиня поднялась с места, хотела что-то приказать, но Людовика бросилась к ней, как бы боясь, что старая графиня убежит.

– Извольте идти в свою горницу, – приказала она. – Вы будете заперты там, покуда не появится здесь член магистрата. Отведите ее! А этих трех злодеев запереть сейчас в библиотеке и поставить караул!

Или случившееся в замке заставило всех потерять рассудок, или в голосе Людовики было что-то, чему повинуются всякая толпа, иногда просто бессознательно, так или иначе, но даже старая графиня двинулась быстрыми шагами в свою горницу, а за ней последовало несколько человек, как бы караулом сопровождая ее.

И только один из них, немец, по дороге бормотал что-то, похожее на извинение.

В этот вечер графиня действительно была как бы арестована в своих комнатах.

Капеллан с двумя новыми приятелями был заперт на ключ, который дворецкий передал молодой барышне. У двери были поставлены и сменялись часовые.

Людовика, распорядившись всем и послав трех человек известить власти Киля о преступлении, совершенном в замке, сидела у себя, но сидела как статуя, без единой мысли в голове.

Ей казалось, что вчерашняя Людовика умерла и что она чувствует в себе совершенно иное существо, не имеющее ничего общего со вчерашней девушкой.

Отомстить и умереть – вот единственная мысль, которая не покидала ее головы. Отомстить мудрено, но надо, умереть очень легко, мало ли есть способов самоубийств. И Людовика спокойно, даже без отчаяния, без страсти и огня решила бесповоротно и даже рассчитала, что через месяц или полтора, сделавши то, что она обязана была исполнить, она может уже быть там же, где теперь отец.

Среди ночи не спавшее, конечно, население замка прислушалось к гулу колес и копыт, который несся со стороны дороги.

В замок явились два экипажа с разными правительственными лицами из Киля.

С этой минуты власть в замке перешла в руки пожилого, никому не знакомого человека. По шитью на его кафтане всякий догадался, что это главный судья из города. С ним вышел из экипажа военный, которого не приглашали, но который придал всему делу еще более важное значение.

Тотчас же вновь все было осмотрено, взвешено, передумано, все по очереди были допрошены.

Судья относился с одинаковой строгостью и холодностью ко всем. Только с одной графиней он вел себя несколько вежливее.

Отец Игнатий не мог быть вызван к допросу, и все чиновники сами посетили его в большой библиотеке. После допроса судья по просьбе капеллана остался с ним на несколько минут наедине.

Это было уже около пяти часов утра. От отца Игнатия судья снова отправился на половину старой графини и говорил с ней тоже наедине около часа.

Потом все население замка, усталое и измученное всем перечувствованным, решилось отдохнуть. И никогда, быть может, за последние годы замок не спал таким крепким сном, как теперь. Даже бедная молодая девушка, и та дремала, сидя в кресле, и бредила в полудремоте, и стонала, и глубоко вздыхала.

Приезжие тоже легли отдохнуть.

Когда около полудня снова все поднялось на ноги, когда наконец прошло около суток с тех пор, что дверь была разломана, все как-то переменилось, пошло иначе, как будто все одумались от вчерашнего сна и бреда... Или же, быть может, правительственные чиновники, распорядившиеся всем, повернули дело иначе.

XXXI

Через четыре дня происходили в замке похороны владельца.

Пышные траурные дроги в восемь лошадей цугом, в черных пополах шагом увезли тело покойного владельца замка в Киль, на самое главное городское кладбище. Некоторые из обитателей замка проводили тело до самого города, другие – до полпути, третьи – только за ворота.

В числе последних была и старая графиня. По нездоровью она не могла ехать далее.

Людовики вовсе не было при погребении. Она была, как говорили, серьезно больна. К ней никого не пускали, кроме наперсницы старой графини. Ее собственные девушки, в том числе и Эмма, были от нее взяты и некоторые уже выехали из замка. Несмотря на просьбы Людовики, обращенные к судье, допустить ее быть на погребении, ей было в этом отказано, и молодая девушка действительно от этого заболела.

На второй или третий день после похорон чиновник явился к Людовике для беседы с ней, очень важной, как объяснил он ей.

– Поддерживаете ли вы, милостивая государыня, ваше обвинение? Можете ли вы взять на себя хлопотать о раскрытии преступления перед правительством?

– Конечно, – вымолвила Людовика.

– В таком случае я буду просить вас немедленно собраться в дорогу и ехать со мною в Киль завтра же. Вы можете иметь аудиенцию у наместника и передать ему все то, что знаете.

– Меня не пустит графиня. Роли переменялись, она теперь все здесь.

– Вы пойдете тайком в сумерки, идите в конец парка, где я буду ждать вас с экипажем. Если вам не удастся это, завтра в тот же час я буду ждать вас, и, наконец, в продолжение трех-четырёх дней карета и я к вашим услугам.

В сумерки Людовика, найдя свою горницу отпертой, прошла анфиладу комнат, вышла незамеченная в парк и действительно нашла там того же чиновника и карету.

Через несколько часов после этого, уже в окрестностях Киля, карета остановилась на дворе огромного здания.

Людовика вышла и, сопровождаемая чиновником, поднялась по огромной парадной лестнице мимо разных ливрейных служителей. Подождав по уходе чиновника несколько времени в большой гостиной, довольно просто, но чисто меблированной, она наконец была принята маленьким низеньким стариком с очень добрым лицом, который ей сразу понравился.

Он просил ее идти за собою, провел через несколько комнат и большой коридор, вроде того, что был у них в замке, привел в маленькую горницу и, ласково улыбаясь, сказал:

– Вот ваша комната. Если вам что будет нужно – приказывайте. Девушка Мария будет служить вам, исполнять в точности все ваши приказания.

– Я ничего не понимаю, – изумилась Людовика.

– Успокойтесь, успокойтесь. Это главное. Не хотите ли вы тотчас же кушать? – ласково проговорил старичок.

– Но объясните мне, что это? Западня? Что это за дом, куда меня привезли? Объясните, я ничего не понимаю.

– Успокойтесь, прежде всего спокойствие. Завтра утром я буду у вас, и мы побеседуем.

Старичок вышел и, заперев за собою дверь на ключ, передал его пожилой женщине.

– Коли будет очень плакать или тревожиться, ты с ней уж не разлучайся, на первых порах не оставляй одну.

– Слушаюсь, не в первый раз, знаю, – лениво и нехотя отвечала пожилая женщина.

Затем старичок, пройдя коридор, вошел еще в несколько комнат и в каждой ласково побеседовал с разными обитательницами, и молодыми, и старыми.

Только в одной комнате при его появлении раздались проклятия, вопли и крики. Здесь женщина, молодая, красивая, крепкого телосложения, сидела в странной одежде, вроде мешка, и одной рукой была прикована к стене.

Людовика недолго недоумевала. Бедная девушка скоро догадалась, куда ее привезли из замка.

Ее искреннее горячее убеждение, что отец был убит, ничем не доказанное... что же это такое? конечно, сумасшествие с горя.

И добрая старая графиня, соболезнуя и жалея бедную племянницу, поместила ее в самый дорогой и лучший сумасшедший дом во всей Германии, обещаясь, покуда племянница жива, за себя и за своих наследников платить в дом умалишенных крупные ежегодные взносы.

XXXII

Когда первые минуты отчаяния и даже злобы прошли, Людовика холодно обдумала свое положение.

После краткого разговора с женщиной, которую к ней приставили, после нескольких вопросов, которые она задала ей, для молодой девушки не оставалось никакого сомнения, что она действительно привезена в сумасшедший дом и, вероятно, старая графиня так сумела обставить все дело, что освободиться ей будет мудрено.

Людовика понимала, что отсутствие друзей и даже знакомых в городе делает ее положение еще более затруднительным. Сама она, запертая в огромном здании, ничего сделать не может, а хлопотать за нее перед правительством совершенно некому. Ей, нисколько не сумасшедшей, доказать, что она не лишилась рассудка, доказать, что отец был действительно убит, было невозможно. Наконец, она не знала, чем руководился чиновник, предательски привезший ее сюда: действительно ли суд был убежден в том, что молодая девушка сошла с ума, или же, наоборот, чиновники знали о преступлении, но, подкупленные старой графиней, действовали заведомо незаконно и предательски.

К вечеру Людовика немного успокоилась, и какое-то внутреннее чувство говорило ей, что недолго пробудет она в заключении. Или ее кто-нибудь вырвет отсюда, или, наконец, она силою воли и характера сама избавится от своих преследователей. Во всяком случае, обстоятельства так сложились, что теперь она уже забыла и думать о страшной смерти отца и о всех последствиях преступления относительно ее самой и ее будущности. Прошлое ее, детство, юность, обстановка и воспитание... а равно и блестящая картина будущности – являлись ей теперь каким-то великолепным волшебным сном, но сон этот был, в сущности, тяжелым кошмаром. Она поневоле должна была думать теперь о своем настоящем положении.

От усталости и волнения Людовика поневоле крепко проспала всю ночь. Наутро явился к ней тот же старичок и так же ласково спросил о здоровье, о ее привычках, вкусах, желая удовлетворить хотя бы малейшей ее прихоти. Вместе с тем он попросил Людовику рассказать ему подробно свое дело.

Старичок этот, директор сумасшедшего дома, выслушал ее горячее и страстное объяснение всех событий молча, просто, лицо его не выражало ни удивления, ни ужаса. Он слушал молодую девушку так же, как слушал бы журчание ручья, и только под конец ее повествования лицо старика несколько как бы оживилось, он показал больше участия к тому, что слышал.

Человек этот столько видел в жизни разнохарактерных умалишенных мужчин и женщин, что, несмотря на все нелепое повествование этой молодой девушки, все-таки в душу его запало сомнение.

– Скажите мне, верите ли вы всему, что я рассказала вам? – спросила дальновидная Людовика, окончив свой рассказ.

– Разумеется, разумеется, – поспешил проговорить директор.

– Стало быть, вы понимаете, что меня предательски привезли сюда, выдали меня за безумную из боязни моей мести и для того, чтобы я не могла вредить иезуиту и старой графине, меня заперли в сумасшедший дом.

– Ах! Кто это вам сказал? Разве это сумасшедший дом – это просто полугоспиталь, полупансион, где живут люди, не имеющие близких родственников или несколько расстроенные здоровьем.

Людовика усмехнулась. В голосе директора было слишком много фальши. Людовика отгадала, что эту фразу, это объяснение он дает, быть может, в тысячный раз в жизни.

На все вопросы Людовики: долго ли продлится ее заключение и дадут ли ей возможность доказать кому следует, что она не безумная? – директор пожимал плечами и отвечал уклончиво.

Людовика наконец не выдержала, начала плакать и, постепенно придя в сильное нервное возбуждение, объявила старику, что, подождав несколько времени, чтобы кто-нибудь явился и спас ее, она сама бежит из своей тюрьмы или решится на самоубийство.

Старик взял ее за руку и добрым голосом, с другим, добрым, выражением лица, менее официальным, как будто более искренним, стал ее расспрашивать.

– Я верю, я почти верю, – произнес он, – что все, что вы говорите, действительность, а не вымысел и что вы столько же сошли с ума, сколько и я; но дело в том, что я в качестве директора этого дома ничего не могу сделать. Моя обязанность обставлять вашу жизнь более или менее спокойно и удобно.хлопотать о вас, подавать просьбы кому следует или допустить, чтобы вы жаловались, я никоим образом не могу – я только потеряю свое место. Но я обещаю вам сделать частным образом все, что будет от меня зависеть. Если кто-либо из города явится хлопотать за вас, то я не только не помешаю, но тайно буду помогать. Не можете ли вы назвать мне кого-либо в Киле из ваших знакомых или друзей, кто мог бы возбудить это дело?

Людовика подумала и с отчаянием воскликнула:

– Никого нет! Я не бывала знакома со всеми теми, с кем видался отец мой. Когда они изредка приезжали из Киля к нам в замок, то я не показывалась. Единственные личности, которых я видала и знавала близко, – большею частью профессора и учителя, дававшие мне уроки. Все это люди небогатые, не имеющие никакого влияния, и, конечно, они не могут бороться с графиней, у которой теперь страшные средства: все состояние отца.

– Все-таки подумайте, – вымолвил старик после минутного молчания, – может быть, вы вспомните кого-нибудь. Завтра я снова буду у вас.

На другой день Людовика, конечно, точно так же не могла указать директору ни на кого из таких влиятельных лиц, которые пожелали бы хлопотать за нее.

Единственный человек, о котором она вспомнила, который относился к ней не просто как к ученице, а сочувственно, дружески, был музыкант Майер.

Директор невольно вздохнул и даже слегка пожал плечами. Он слышал о Майере как о даровитом музыканте... Но чем может пособить горю бедный музыкант, живущий уроками и концертами, которые изредка устраивает в Киле?

XXXIII

Прошла неделя, другая, наконец, целый месяц после того, как Людовика была привезена в сумасшедший дом, а положение ее было все то же.

Директор говорил ей, что он наводит справки, расспрашивает, хлопочет и надеется на успех; но Людовика чувствовала, что старик директор просто утешает ее и что таким образом пройдет и год, и несколько лет.

За это время Людовика переменяла несколько свой образ жизни. Сначала она упорно сама отказывалась выходить из своей комнаты: какое-то странное чувство стыда удерживало ее в горнице. Ей казалось позорным появляться на глаза кого-либо из прислуги и даже на глаза других обитателей дома, то есть сумасшедших. Она не могла перенести мысли, что кто-либо посмотрит на нее как на сумасшедшую. Но понемногу привычка взяла верх, и тоска сидеть в четырех стенах маленькой комнаты заставила наконец Людовику согласиться на увещания директора и начать выходить гулять.

Он позволил ей свободно ходить по всему дому и в большом саду, но на это Людовика не согласилась и объяснила причину очень просто. Она боялась именно тех, к которым ее предательски причислили...

Тогда директор предложил ей гулять в отдельном маленьком садике, лично ему принадлежащем, где она может встретиться только с тремя женщинами.

– Они, – сказал он, – почти в таком же положении, что и вы, то есть их считают сумасшедшими, но в действительности они менее вредны обществу, чем многие гуляющие на свободе.

И в первый раз с горьким чувством стыда и с тревогой в душе Людовика спустилась в маленький садик.

Она невольно опускала глаза при встрече с кем-либо из прислуги или со зрителями и зрительницами дома.

Мысль, что они глядят на нее как на безумную, жгла ей сердце. Но Людовика на этот раз ошиблась. Она не знала, что в сумасшедшем доме уже давно тайно известно: кто она и каким образом попала в этот дом. Вдобавок каждый взиравший теперь на нее был невольно поражен ее красотой и невольно сочувствовал ее положению.

В первый раз, как Людовика собралась погулять, она вышла очень рано.

В саду директора не было никого. Рядом, за высокой стеной, раздавались голоса мужчин.

Людовика знала, что это мужское отделение, знала, что за этой стеной разговаривают сумасшедшие, и робко, но любопытно прислушивалась к этим голосам, ожидая ежеминутно чего-нибудь чрезвычайного. Ведь это все безумные, способные на все и на убийство...

Но прошло довольно много времени, а она, кроме мирных бесед за этой стеной, ничего не услышала. В особенности занял ее один голос. Очевидно было, что двое сумасшедших сидели на скамейке за забором и мирно беседовали, а один из них молодым, звучным голосом рассказывал другому. Но этот рассказ был, в сущности, очень интересная лекция из астрономии.

Замечательно образованная Людовика, знавшая многое, знала и то, что рассказывал этот сумасшедший.

Он подробно объяснял своему собеседнику о строении земного шара, светил, о законах движения комет.

Людовика слушала со вниманием и невольно спросила себя два раза:

– Неужели это говорит сумасшедший? Неужели же здесь, в этом доме, так много лиц, которые попали сюда так же, как и я, которых враги предательски засадили здесь?

И она уже с грустным чувством продолжала внимательно прислушиваться к этому голосу.

На несколько мгновений она задумалась о себе самой; но тот же голос, начинавший звучать громче, с какой-то страстью, заставил ее снова прислушиваться.

– Но все это происходит от капитального недостатка в творении, – звучал голос. – Творец сделал великую ошибку... Все это нам только кажется и нас сбивает с толку; в сущности, мировое бытие совершается совсем наоборот... Упорным трудом я дошел до этого... Я сделал великое открытие, которое увековечило бы мое имя. Я знаю, что я выше Коперника или какого-нибудь болвана Галилея... Я понял ту простую истину, что для того, чтобы правильно созерцать мир божий, Вселенную и все ее явления, нужно только одно... И вот, видите, я это сделал.

– Как?! – воскликнул другой голос.

– Так вы видите. Я сам выколол себе глаз, и теперь одним глазом я вижу все и понимаю так, как другие люди понять не могут. Следовательно, спасение человечества в том, чтобы каждый человек потерял непременно один из двух глаз. Я хотел начать проповедовать это, пожертвовать собою для примера, и мне удалось уже склонить двух человек. Мы втроем хотели продолжать эту новую истинно евангельскую проповедь, когда вдруг враги мои и завистники схватили меня и засадили сюда, объявив, что я сумасшедший... Но я надеюсь, что я и здесь сумею обратить в мою веру и сделать много прозелитов... Вы увидите, молодой человек, что после нескольких бесед со мною вы сами захотите выколоть себе один глаз.

Людовика, слыша это, невольно горько усмехнулась.

Между тем после утреннего завтрака, от которого Людовика отказалась в этот день, в саду одновременно появились три женские фигуры. Это были те самые личности, о которых предупреждал ее директор.

Людовика смутилась от этого нового знакомства. Она готова уже была скорей бежать к себе.

Одна из этих женщин была высокая, худая, уже лет пятидесяти. В ее осанке, в поступи было что-то спокойно-важное, даже величавое. Женщина эта была, вероятно, из самого высшего общества.

Увидя Людовику, она тотчас покинула двух других, подошла к ней, любезно поздоровалась, села около нее и начала беседовать с ней так, как если бы они встретились не в этом доме, а говорили бы в гостиной у знакомых.

За ней подошли и другие – одна лет двадцати пяти, красива, с замечательно кротким лицом и прелестными глазами. Она заговорила так кротко, так смиренно и тихо, что Людовика с трудом могла слышать слова.

Третья была еще полуробенком, с бледным, худым лицом, с болезненным видом. Сухой кашель, заставлявший ее по временам прижимать к груди обе руки, придавал ей еще более жалкий вид.

Усевшись все вместе около Людовики, они разговорились.

Из беседы с ними Людовика узнала, что две, так же как и она, совершенно незаконно, предательски содержатся в сумасшедшем доме. Только одна больная девочка ни слова не говорила.

Пожилая женщина, обещавшая Людовике рассказать свою ужасную судьбу, прибавила:

– Тогда вы узнаете, почему я здесь. И уже вот скоро десять лет... должна видеть сумасшедших. Я благодарна доктору за то, что он позволил мне гулять в этом отдельном саду. Сюда, кроме нас, не пускают никого, хотя и между нами есть одна действительно больная.

И она подмигнула глазами на сидевшую около нее девочку.

Людовика, давно уже не беседовавшая долго ни с кем, почувствовала усталость и встала, чтобы распрощаться со своими новыми знакомками.

Получив их приглашение бывать у них и дав позволение себя навестить, Людовика быстро двинулась через сад. Но когда она уже поднималась по ступеням крыльца, чтобы через длинный коридор вернуться в свою горницу, она услышала за собою шорох шагов. По дорожке,

кашляя, бежала девочка, и когда Людовика обернулась, она замахала ей рукой, как бы умоляя не заставлять ее бежать, а обождать немного.

Людовика остановилась. Девочка подошла к ней, с трудом подавила в себе кашель и, едва отдохнув, не сразу начала дышать ровнее.

– Я за вами... к вам... – проговорила она. – Ради бога, скажите мне, не видели ли вы моего жениха? Ради бога, скажите! Хотите, я на колени стану.

Людовика невольно широко раскрыла глаза и выговорила:

– Я не понимаю вас... Что вам угодно?

– Не видели ли вы моего жениха? – повторила с чувством страстной просьбы бедная девушка, и пламенный румянец на минуту покрыв ее бледные щеки.

– Нет, – нерешительно проговорила Людовика, – но где он?.. Здесь?.. Может быть, и видела, но я ведь не знаю.

Девочка вдруг заплакала.

– Ах, я тоже не знаю!.. И никто не хочет сказать мне... Вот и вы показались мне такая добрая, милая, а вот и вы тоже не хотите!.. Я вижу, что никогда никто не скажет мне этого.

И она продолжала горько плакать.

Людовика невольно грустно опустила голову. Она будто забыла, где она находится, и только теперь, сейчас эта девочка напомнила ей.

Между тем девочка, плача, повернулась и пошла снова по дорожке тихими шагами, утирая лицо платком.

Людовика, расстроенная, взволнованная, вернулась к себе в горницу, опустилась на стул и после минутного раздумья вдруг выговорила:

– Если часто быть с ними, можно, пожалуй, лишиться рассудка самой.

XXXIV

В тот же день в сумерки, когда она пожелала видеть директора, женщина, прислуживавшая ей, отвечала, что он взял отпуск на несколько дней.

Действительно, в продолжение нескольких дней Людовика не видела нигде директора. За это время она поневоле ближе познакомилась с тремя сумасшедшими женщинами.

Сумасшествие молоденькой девушки было самое простое и тихое, и все заключалось в горе, что жених, которого предназначил ей Бог, скрывается от нее и от всех. Никто его не видал, и сама она не может увидеть; а кто и видел, тот не хочет сказать. Так как она постоянно в городе расспрашивала всех, приставала ко всем все с той же просьбой и, часто встречая новых лиц, все чаще плакала от их отрицательных ответов, то ради ее собственного спокойствия ее посадили в дом умалишенных, где реже появлялись новые лица и поэтому реже приходилось ей плакать после своей просьбы.

Другая, кроткая и светлоокая молодая женщина, сошла с ума после потери двух детей одновременно. Горе лишило ее рассудка. Однажды ее нашли около озера с чужим ребенком, которого она тихо, кротко, не спеша собиралась утопить. Когда дело разъяснилось, она так же кротко, но решительно заявила, что теперь ей остается только одно – уничтожить всячески всех детей, которые будут попадаться ей под руку. И это привело ее в тот же дом.

Подробности эти Людовика узнала от пожилой женщины, которая чаще стала ее навещать и беседовала с ней как женщина умная и образованная.

Однажды Людовика невольно спросила ее:

– Но за что же вы-то здесь?

Пожилая женщина объяснила ей, что это великая государственная тайна, которую она ей передаст тогда, когда более близко познакомится с нею. И затем, через два дня, снова посетив Людовику в ее горнице, вечером, она шепотом передала, что перед ней сидит не княгиня Браунберг, как ее называют все и в чем уверены даже ее родственники. Она не кто иная, как старшая дочь императора Карла VI, следовательно, имеет больше прав на престол Австрии, чем Мария-Терезия. Даже мысль о прагматической санкции принадлежит ей: она внушила ее своему отцу, а этим воспользовалась младшая сестра.

– Но уверены ли вы в этом? Есть ли на это доказательства? – проговорила Людовика. – Может быть, это именно и есть пункт вашего помешательства, – прибавила молодая девушка просто и искренно.

– Уверены ли вы в том, моя милая, что вашего отца убили, как вы говорите, что он не умер от удара?

– Конечно, уверена! – воскликнула Людовика. – Я предчувствовала это преступление.

– Но можете ли вы его доказать?

– К несчастью, нет.

– Ну, вот видите! И я совершенно в таком же положении. Я помню мои беседы с моим отцом-императором, я помню, как я сама выработала в подробности прагматическую санкцию, но доказать этого я не могу – мы совещались всегда наедине и держали это в тайне. А когда сестра Мария вступила на престол, то, конечно, тут уж было поздно... Если вы не можете бороться со старой теткой-графиней, у которой, как вы говорите, громадное состояние, долженствовавшее принадлежать вам, – то как же вы хотите, чтобы я боролась с императрицей Австрии, королевой венгерской. Русская императрица и король прусский боятся могущества этой самозванки, а вы хотите, чтобы я доказала свои права... Я писала императрице Елизавете в Россию, писала и Фридриху, писала и французскому двору... Я действовала энергически, и вот в ту минуту, когда Шуазель обещал мне двинуть французскую армию для завоевания престола и передачи мне всех моих прав, меня схватили, выдали за сумасшедшую и засадили сюда.

И затем эта претендентка на австро-венгерский престол горячо, красноречиво, в малейших подробностях передала Людовике почти всю свою жизнь, все свои мучения, страдания, борьбу, все душевные пытки, через которые она прошла...

– Но не надо падать духом – за меня правда, Господь Бог! За меня мои права, теперь попранные, но я знаю... твердо верю и вижу, что скоро я буду на престоле моих предков... И тогда, милая моя, обратитесь ко мне, и я одним словом, одним росчерком пера устрою вашу судьбу и возвращу вам все состояние, которое у вас отняли.

Княгиня Браунберг ушла, встревоженная, с заплаканным лицом, а Людовика осталась, грустно понурилась, долго недвижимо сидела на своем месте и наконец начала тихо плакать.

Странное, тяжелое и смутное впечатление произвела на нее эта женщина. Людовика, конечно, понимала, что это не дочь императора, даже не родственница императорского дома, а просто то, что она не сознает, то есть сумасшедшая. Но почему же и зачем, вследствие вымысла или болезни головы? Все эти страдания, мучения, ведь они все-таки искренни, ведь они все-таки тяжелы, так же как если бы являлись последствием действительности...

И вдруг, независимо от собственной воли, Людовика стала вспоминать все свое прошлое и ближайшее: обстановку в замке, преступление, лишившее ее всего. Затем мысли ее пошли далее, вернулись к далекому прошлому.

Она как-то яснее вспомнила те высокие горы, то лицо старушки, которое изредка вставало в ее памяти, и она вдруг спросила сама себя: да действительность ли это? Правда ли это? Может быть, все это ей кажется? Может быть, все это никогда не бывало? Может быть, она так же вообразила себе какую-то вымышленную, ужасную драму и страдает фиктивно так же, как эта несчастная женщина?

Но через минуту Людовика испугалась вопроса, который невольно сама себе задала.

Стало быть, она спрашивала себя: не сумасшедшая ли она? Но ведь это уже есть шаг к помешательству!

Людовика быстро поднялась с места, испуганно оглянулась вокруг себя на пустые стены и наконец горько заплакала.

– Нет, это правда. К несчастью, все это правда!

Наутро, проведя тревожную ночь, Людовика не пошла в сад, осталась у себя и снова, думая о себе, как бы давала себе слово: не сходить с ума, чаще вспоминать каким образом она попала в этот дом, меньше видеть этих несчастных женщин.

На этот раз судьба готовила ей утешение. Служанка объявила, что господин директор вернулся утром и будет у нее вскоре после завтрака.

Действительно, старик явился и сразу показался Людовике несколько изменившимся и в выражении лица, и в манере держать себя.

Он вошел бодрее, дружески протянул ей руку. Лицо его было радостнее обыкновенного, и он заговорил с ней совершенно иным голосом.

После краткого рассказа об его поездке и пребывании в Киле он, весело, радостно улыбаясь, выговорил:

– Теперь я знаю, что вы не сумасшедшая, что все, что вы мне рассказывали, сущая правда, и я нашел вам в городе защитника могущественного, от которого я жду вашего спасения.

– Кто он? – воскликнула Людовика.

– Он могущественнее владетельного герцога. Этот защитник выручит вас отсюда с моею помощью.

– Но кто он? – снова воскликнула Людовика.

– Он – общественное мнение, голос народа, молва. Да, моя милая и несчастная, общественное мнение в городе Киле за вас. Всем известно, что вы находитесь у меня, отправленная сюда вашей теткой. Все смущены и все подозревают, что в замке действительно было совершено преступление и что вы вторая жертва этого преступления. Отец ваш уже у престола

Божьего, а вас еще можно спасти. Я виделся со многими личностями, советовался. Получить хотя бы часть состояния, которое вы потеряли, нет никакой возможности – оно законно и формально принадлежит сестре покойного графа; но что возможно – это вырвать вас из рук старой тетки. И вот этот защитник, могущественный и энергический, то есть общественное мнение столицы, нам поможет. Итак, будьте спокойны, рано или поздно, во всяком случае не позже как через полгода, вы выйдете отсюда. С вашей же красотой, истинно замечательной, с воспитанием и образованием, которые вы получили, я глубоко убежден, что вы вскоре займете общественное положение если не такое, какое обещал вам ваш отец, то, во всяком случае, более высокое, чем вы думаете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.